
Я вас
люблю...
Письма
Феликса
Дзержинского
Маргарите
Николаевой

Я Вас люблю...

Письма

Феликса Дзержинского Маргарите Николаевой

Федеральное архивное агентство

Российский государственный архив
социально-политической истории

Я Вас люблю...

Письма
Феликса Дзержинского
Маргарите Николаевой

КУЧКОВО ПОЛЕ
Москва
2007

ББК 84Р1-4
Д43

Дзержинский Ф. Э.

Д43 «Я вас люблю...»: Письма Феликса Дзержинского Маргарите Николаевой / Подг. текста, сост. и вступ. ст. А. А. Плеханова и А. М. Плеханова. – М.: Кучково поле, 2007. – 224 с.

ISBN 978-5-901679-76-0

В настоящем издании впервые собраны все сохранившиеся письма Ф. Дзержинского М. Николаевой.

Будущий председатель ВЧК предстает перед читателем романтическим юношей, но уже твердо ставшим на путь революционной борьбы.

Тексты писем даются без купюр.

ББК 84Р1-4

ISBN 978-5-901679-76-0

Всем любимым и любящим сотрудникам госбезопасности России посвящается

Предисловие



11 сентября 2007 г. исполняется 130 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. С того времени, как его не стало, прошло более 80 лет. Эти годы безвозвратно ушли в прошлое, но желание понять мотивы его поступков, в чем он видел смысл жизни, для нас не простой интерес. В исторической литературе сложилось целое направление по изучению теоретического наследия и практической деятельности Ф. Э. Дзержинского. Написаны десятки книг и сотни статей, изданы сборники документов и материалов, которые помогают понять многогранную деятельность этого человека. И все же возникает немало вопросов, потому что биографы и исследователи почти не касались его личной жизни, того, как он рос и воспитывался, какое влияние на формирование его характера оказали близкие люди и бытовое окружение.

Особое место в наследии Ф. Э. Дзержинского занимают его письма. В отличие от официальных приказов, циркуляров и других доку-

ментов, как правило, подготовленных сотрудниками аппарата, они дают представление о личности этого легендарного человека. В этой книге – его письма к любимой женщине. Все они пронизаны эмоциями, искренностью и открытостью автора, рассуждениями о самом сокровенном. Чувствуется, что автор стремился глубже осмыслить свои впечатления, критически отнестись к своим решениям и поступкам.

Полностью, без всяких изъятий эти письма Феликса Эдмундовича Дзержинского публикуются впервые.

Кем же были эти молодые люди, оказавшиеся волей судьбы в ссылке в заштатном городке Вятской губернии. О Маргарите Федоровне Николаевой известно лишь то, что она была слушательницей Бестужевских курсов, знала Н. К. Крупскую – будущую соратницу и жену В. И. Ленина. Николаеву выслали в Нолинск на несколько лет за распространение нелегальной литературы среди рабочих.

Имя Феликса Эдмундовича тогда мало о чем говорило широкому кругу революционеров. Это был недоучившийся гимназист, начинающий марксист, но уже приобретший некоторый опыт работы в качестве агитатора и руководителя рабочих кружков и имевший четкое представление о своем будущем.

Какие же жизненные цели ставил перед собой молодой революционер, сознательно обре-

кая себя на страдания? «Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов... чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды... Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни». А чтобы достигнуть этого, «такие, как я, должны отказаться от всех личных благ, от жизни для себя ради жизни для дела». Именно во имя этого, писал он, «пока теплится жизнь, жива сама идея, я буду землю копать, делать самую черную работу, делать все, что смогу. И эта мысль успокаивает меня, дает возможность переносить муку. Нужно свой долг выполнить, свой путь пройти до конца». Счастье же — это «не жизнь без забот и печалей, счастье — это состояние души», и в душе «есть святая искра... которая дает счастье даже на костре». А силы духа, отмечал Ф. Дзержинский в 1901 г., «у меня хватит на тысячу лет, а то и больше».

Когда Маргарита встретила в Нолинске Феликса, ей было 25 лет, ему исполнился 21 год. Собрания ссыльнопоселенцев, жаркие споры по вопросам развития России и судьбы революционного движения сблизили их, дружба переросла в любовь. Но недолго им пришлось оставаться вместе. Уже в декабре 1898 г., за то что он вышвырнул из своей комнаты полицей-

ского, Дзержинского вместе с народником А. И. Якшиным направили севернее, в село Кайгородское. На новом месте они наняли избу из двух комнат и кухни за 5 рублей в месяц «с дровами и водой», разделили между собой обязанности, на долю Феликса досталась уборка комнаты и постелей, постановка самовара, а Якшину все, что касалось кухни. Первая неделя ушла на то, чтобы в соседних деревнях (там дешевле) закупить мясо, масло, яйца и необходимую посуду и мебель.

С материальными трудностями Феликс был знаком не понаслышке. Так, после смерти отца положение семьи Дзержинских было очень трудным. На руках овдовевшей матери осталось восемь детей, из которых старшей Альдоне было всего лишь 12 лет, а младшему Владиславу — немногим более года. И чтобы иметь постоянный заработок, Феликс поступил работать в переплетную мастерскую. В последующем, во время пребывания в Ковно, он также «весьма бедствовал»: «Не раз текла слюнка, когда я приходил на квартиру рабочих и в нос ударял запах блинов или чего-нибудь другого. Иногда приглашали меня рабочие вместе поесть, но я отказывался, уверяя, что уже ел, хотя в желудке было пусто».

К ссыльным большой интерес проявили местные жители, превратив их дом в постоялый двор, тем более что Якшин прослыл за агроно-

ма. Начали знакомиться с местной интеллигенцией, ссыльными, изучать обычаи населения. Ссыльные вели себя по-разному, некоторые спивались, теряли всякий интерес к жизни. Таким был виленский рабочий Абрашка, живший попрошайничеством. Именно после общения с ним Феликс дал зарок «никогда не быть идеологом пьянства». Часть свободного времени Якшин и Дзержинский проводили на охоте.

И все же всеми своими мыслями Феликс был в Нолинске. Началась активная переписка молодых людей, но она длилась недолго. На сегодняшний день удалось разыскать девятнадцать писем Дзержинского: первое было написано 2 января 1899 г., последнее – в ноябре 1901 г. В ссылке Феликс пробыл до конца августа, затем бежал. С апреля по август, несомненно, они писали друг другу, но эти письма пока не обнаружены.

Хотя многое известно о жизни Ф. Э. Дзержинского до первой ссылки, все же внесем некоторые уточнения. Это поможет многое понять и объяснить в содержании его писем Маргарите.

Феликс был потомственным дворянином и принадлежал к старинному польскому роду. Из документов от 11 апреля 1663 г. следует, что предком Дзержинских был ротмистр Николай Дзержинский. Отец Феликса Эдмунд-Руфин Дзержинский родился 15 января 1838 г. В 1863 г. он окончил физико-математический

факультет Санкт-Петербургского университета и через два года уехал с семьей в Таганрог, где до выхода в отставку по болезни в 1875 г. работал преподавателем физики и математики в мужской и женской гимназиях. Мать Феликса Елена Игнатьевна, в девичестве Янушевская, происходила из интеллигентской семьи. Ее отец был профессором Петербургского железнодорожного института.

11 сентября 1877 г. (по новому стилю) в небольшой усадьбе обедневших дворян Дзержиново, которая располагалась среди вековых деревьев Налибокской пущи в Ошмянском уезде Виленской губернии, у четы Дзержинских родился сын Феликс. Он был шестым ребенком. В регистрационной книге Деревнинского римско-католического приходского костела, на 54–55-м листах, под № 195 записано: «Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, ноября, шестнадцатого дня в Деревнинском римско-католического приходского костела окрещен младенец по имени Феликс Киприаном Жебровским, администратором того же костела, с совершением всех обрядов таинства дворян: коллежского советника Эдмунд-Руфина Осиповича и Гелены, урожденной Янушевской, Дзержинскими, супругов сын, родившийся сего года, августа 30 дня в имении Дзержиново Деревнинского прихода. Восприемниками были дворяне Франц Вержбовский с Юзефью Войновой, вдовой».

В 1882 г. на 43-м году жизни Эдмунд-Руфин умер от туберкулеза. На руках у 32-летней матери осталось восемь детей. Они жили на небольшую пенсию отца и мизерную арендную плату за имение Дзержиново. Их материально и морально поддерживала мать Елены Игнатьевны Казимира Янушевская, проживавшая в усадьбе Иоды под Вильно.

Елена Игнатьевна создала условия для всестороннего развития детей. В последующем Феликс писал: «Мама наша бессмертна в нас. Она дала мне душу, вложила в нее любовь, расширила мое сердце и поселилась в нем навсегда». Но она ушла из жизни 14 января 1896 г.

С шести лет Феликс учился читать и писать по-польски, а с семи – по-русски. Первыми его учителями были мать и старшая сестра Альдона, которая подготовила его в августе 1887 г. к поступлению в 1-ю Виленскую мужскую гимназию. Учеба шла с переменным успехом. В первом классе он остался на второй год, потому что слабо знал русский язык. Когда подошло время сдавать экзамены на аттестат зрелости, Феликс бросил гимназию, мотивируя это тем, что «развиваться можно и работая среди рабочих, а университет только отвлекает от идейной работы, создает карьеристов».

Как и вся польская шляхта и польское дворянство того времени, Феликс воспитывался в родительском доме в духе строгого католи-

цизма и польского патриотизма. В этом была определенная оппозиционность. В то время в Вильно и по всей Литве и Белоруссии царскими жандармами, чиновниками и учителями преследовалось все польское и католическое. В коридорах гимназии на дверях висели таблички: «Говорить по-польски строго воспрещается».

Такой диктат вполне естественно вызывал протест среди молодого поколения, живо чувствовавшего на каждом шагу свое бессилие. Гимназисты знали по рассказам матерей о восстании 1863 г., о виселицах царского генерала Н. М. Муравьева-Вешателя, жестоко расправлявшегося с поляками, литовцами и белорусами. Впоследствии Дзержинский вспоминал: «Будучи еще мальчиком, я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Но проходят годы, и вместе с «москалями» он идет в революционное движение, чтобы строить новое общество.

В гимназии, как пытливый юноша, он увлекался библейскими и евангельскими мифами и легендами, церковным учением. И был настолько религиозен, что даже собирался поступить в римско-католическую духовную семинарию и стать ксендзом. Когда старший брат-студент спросил его, как он представляет себе своего Бога, Феликс ответил: «Бог — в сердце», и заявил: «Если я когда-нибудь приду к выводу, что Бога нет, пущу себе пулю в лоб». Однако духов-

ная карьера не состоялась. Его родной дядя — католический священник — отговорил от этого намерения, мотивируя тем, что Феликс очень живой и имеет слишком горячий темперамент. Уже в шестом классе (1894) произошел перелом, и гимназист Дзержинский начал всем горячо доказывать, что Бога нет, а в 16 лет, после знакомства с марксизмом, разуверился не только в догмах церкви, но и в существовании божественного начала. Став безбожником и материалистом, в 1895 г. он попал в кружок одного из основателей социал-демократии в Польше и Литве Альфонса Моравского (в последующем одного из идеологов литовской буржуазии), который дал ему читать «Эрфуртскую программу» германской социал-демократии. В 1895 г. у Феликса уже был свой кружок, которым он руководил: знакомил молодых людей с материалистическими взглядами на вселенную, развитие первобытного общества, изучал с ними «Эрфуртскую программу».

2 апреля 1896 г. Феликс оставил 1-ю Виленскую гимназию, став профессиональным революционером. «За верой должны следовать дела, и надо быть ближе к массе и с ней самому учиться», — напишет он позднее в автобиографии.

Дзержинский очень переживал, что его братья и сестры не стали его соратниками по революционной борьбе. Ближе всех ему по взглядам была старшая сестра Альдона. Она вся-

чески поддерживала брата, помогала ему. Судьба многих его родных была трагичной. Сестра Ванда погибла от выстрела, вследствие неосторожного обращения с охотничьим ружьем; Станислав был убит бандитами в июле 1917 г.; Владислав, как заложник, расстрелян фашистами 20 марта 1942 г. в местечке Згеж близ Лодзи; Казимир вместе с женой Люцией за связь с партизанами расстреляны 24 июля 1943 г. гитлеровцами.

В 1895 г. при содействии одного рабочего поэта Феликс Дзержинский «пошел в народ»: ходил на вечеринки и в кабаки, где после получки собирались рабочие, вел там агитацию против существующего строя, выступал против эксплуатации и призывал к борьбе за улучшение экономического положения трудового народа. С каждым месяцем расширялась пропагандистская деятельность Дзержинского. Он выступал перед ремесленниками и рабочими на загородных сходках в окрестностях Вильно: у горы Шяшкине, в Заречье и Шпинишках. Революционная агитация воспринималась некоторыми рабочими неоднозначно, и однажды рабочие завода Гольдштейна поймали «агитатора Яцека» и его друга поэта и избили их. «Мне нанесли ножевые раны по правому виску и голове, — писал Дзержинский. — Доктор Домашевский потом зашил рану. Поэта меньше избили, так как он сразу свалился с ног, а я защищался».

Во избежание ареста в 1897 г. Дзержинский был направлен по партийной линии в Ковно. «Условия моего существования в Ковно, — отмечал он, — были весьма тяжелые».

Во второй половине 1897 г. он был задержан в Ковно на площади около военного собора. Его выдал молодой рабочий завода братьев Тильманс, получив за эту «работу» 10 руб. от жандармов. Далее тюрьма, следствие. Как несовершеннолетнего — ему не было и 20 лет (в Российской империи совершеннолетними признавались лица, достигшие 21 года), — прокурор предложил выслать Дзержинского в одну из губерний Западной Сибири на три года. 5 марта 1898 г. министр юстиции направил министру внутренних дел представление о том, что необходимо выслать Дзержинского в Вятскую губернию под гласный надзор полиции. Губернатор Клингенберг определил местом ссылки Дзержинского Нолинск — небольшой уездный городок в 140 верстах от Вятки, расположенный на правом берегу реки Воя. Население городка составляло около пяти тысяч человек. В городе была табачно-махорочная фабрика, принадлежавшая торговому дому «Яков Евсеевич Небогатиков и сыновья», земская библиотека и больница. На этой фабрике начал работать Дзержинский.

Здесь, в Нолинске, «побывали» в свое время А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко и другие русские демократы.

В числе проживавших здесь среди ссыльных были Сергей Александрович Порецкий вместе с Евгенией Александровной Караваевой, родная сестра Караваевой социал-демократка Екатерина Александровна Дьяконова и др. По средам у кого-либо из товарищей ссыльные собирались на «вечерники», где шли жаркие споры на политические темы, обсуждались последние события, книги и статьи. Именно там Феликс познакомился и подружился с политической ссыльной М. Ф. Николаевой.

В Нолинске за поведением Дзержинского наблюдал исправник Золотухин. В городке Феликс пробыл всего четыре месяца, затем по распоряжению губернатора «за строптивый характер и скандал с полицией» был выслан в село Кайгородское Слободского уезда, расположенное более чем на 500 верст севернее Нолинска. В этом селе, окруженном елово-пихтовым лесом и болотами, насчитывалось около 100 дворов и две церкви, а климат был умеренно-континентальный с продолжительной зимой и коротким летом.

Из затерянного в глуши вятских лесов селения шли письма Феликса Дзержинского по адресу: «г. Нолинск Яранского уезда Вятской губернии, дом Д. К. Калитина, Ея Высокоблагородию Марии Федоровне Николаевой». В письмах из Кайгородского раскрывается его жизнь в первой ссылке, кругозор, интересы. Видно, что

молодой революционер стремился разобраться в сложных вопросах общественной жизни, политэкономии, философии, морали.

Эти письма многое дают для понимания не только восторженного отношения к женщине — соратнику по борьбе, но в большей мере позволяют познакомиться с процессом становления мировоззрения Дзержинского. Объяснения многих его поступков и решений советского времени на различных государственных и партийных постах мы можем найти в письмах 1899 г.

2 января 1899 г. Дзержинский писал: «Мне трудно жить без любящих меня людей, абстракцией я никогда жить не мог». Но любовь родных, друзей и соратников все же не могут сравниться со «всеискупляющим, воскрешающим чувством любви» к женщине. Оно зависит от «всего нравственного склада человека». А «любить — это значит чего-то страшно жаждать», «слиться душой, взять у другого все лучшее, пробудиться к жизни».

«Я Вас люблю, и так сильно, — обращался Феликс к Маргарите, — насколько способен и как никогда в жизни еще никого не любил. В Вас сосредоточились все мои чувства, о которых я не знал раньше, так как делом был занят, а в деле не было ни времени, ни нужды рассматривать свои чувства. Чувство меня гнало к делу, я делом сгорал и о нем думал».

Да, он думал о деле, но не был равнодушным к прекрасному полу. Началось с юношеских увлечений в гимназии. В своих воспоминаниях сестра Ядвига писала 24 декабря 1926 г. о том, что одной из причин, почему ксендз Ясинский не советовал Феликсу поступать в духовную семинарию, было то, что он «был слишком весел и кокетлив, ухаживал за гимназистками. А те влюблялись в него по уши и, наконец, подвели его. Было так: когда преподаватель древней истории учитель Правосудович после занятия в женской гимназии шел в мужскую гимназию, гимназистки вкладывали в его калоши любовные письма Феликсу, и П[равосудович] не подозревал, был удобным почтальоном туда и обратно. Однажды между двумя гимназистками вышла ссора... Секрет был выдан учителю».

Но это была еще не любовь, а влюбленность, увлечение.

Вообще-то юноша боялся, что дружба с женщиной «непременно должна перейти в более зверское чувство», чего он допустить не мог, потому что тогда все «планы, вся жизнь должна будет очень и очень сузиться», и он сделается «невольником этого чувства и всех его последствий. Сдержать же себя тогда, когда уже данное чувство народится, будет уже слишком поздно. Петля уж так затянется, что сил моих не хватит порвать ее». И при первом знакомстве с женщинами Феликс «робел, при более

же близком был грубым и терял всякое уважение». Но в Нолинске все случилось иначе, это не было простым увлечением. В Маргарите Николаевой ему «нравилось очень много идейно», а узнав ее, стал еще больше уважать, что с ним «никогда не случалось».

Так за что же Феликс полюбил эту женщину? В своем дневнике он отметил, что «...она стоит на высоком нравственном уровне, она одна только может правду сказать в глаза, она обладает в высшей степени гражданским мужеством. Как же такой человек может не нравиться, особенно мне, жаждущему самому обладать этими качествами».

Письма любимой настраивали на романтическое восприятие окружающего мира. Читая и перечитывая их, он видел ее грустное и задумчивое лицо, хотел приголубить, не мог усидеть дома и уходил на прогулку по окрестным полям и лесам. Вечер ему казался прекрасным, «луна светила, мелкие прозрачные тучки набегали, перегоняли друг друга, то закрывая собой луну, то снова открывая ее... Тихо было, ель совсем не шумела – только по временам из какой-то деревушки доносился лай собак. Я смотрел на луну, и казалось мне, я как-то уверен даже был, что и Вы на нее смотрите...»

Что дала ему эта любовь? Она подняла его и успокоила страдающую, озлобленную душу, добавила много сил и вызвала желание стать

лучше. Он почувствовал, что «есть близкий, дорогой мне человек, и я теперь не упаду, я буду лучше становиться и становлюсь», пришло понимание людей и их чувств.

В свою очередь, он был рад тому, что уже пробудил «в ней те черты, которые не могли еще проявиться в жизни за недостатком пищи – знания жизни и сильного чувства», и надеялся дать ей уверенность в себе, «что может быть и очень полезной делу, может быть, удастся возбудить в ней желание узнать эту жизнь и принять в ней деятельное участие», «пробудить в ней человека жизни, человека борьбы непосредственной, человека, который ищет активно жизнь, а не только реагирует на личном нравственном уровне на те жизненные явления, с которыми случайно приходится сталкиваться».

Но не все было так просто в отношениях влюбленных.

Маргарита боялась, что со стороны Феликса это только легкое увлечение, и переживала из-за неопределенности перспектив их любви. Восторг перешел в мучения, казалось, что все вот-вот рухнет. Феликс ее успокаивал: «Наши чувства не могут быть теперь совсем удовлетворены, ведь в жизни мы не слились еще в деле, а только в идее, в чувстве. Откуда же может быть удовлетворение, откуда может быть спокойствие? Так коротко было, что иллюзия, абстрак-

ция не могли побороть в Вас ту жизненную силу, то стремление быть вечно недовольной безжизненностью, спячкой. Одного боюсь только страшно, но Вы это пересилите, что недовольство жизнью теперешней у Вас так уже сильно и напряженно, что не дает Вам новых сил и отнимает даже те, которые у Вас есть».

Маргарита писала, что мысли о будущем тревожат ее, она боится, сможет ли подчинить личное общественному. Он же считает, что чувство их полнокровной жизни «мешать не может и не будет. Любовь усилит в тебе жизненную энергию и активность, потому что откроет всю прелесть борьбы». Однако в то же время постоянно подчеркивает, что надо, «чтобы какое-либо одно чувство взяло перевес, и тогда оно заставит работать, тогда это чувство проявится в деле», «чувство тогда только живо, действительно сильно, когда пища ему есть, когда оно применяется к делу», поэтому и их личные чувства не могут быть удовлетворены, «покамест не сольются в деле». И они слились, потому что «одно поддерживает другое, личное – общественное, а общественное поддерживает и в большей степени породило личное, и потому что они теперь одинаковой напряженности». «Личное наше счастье, – писал Феликс, – должно быть – общая работа, поддержка в ней. Дело, работу мы ведь выше поставим друг друга, даже если в борьбе кто-н[и-

будь] из нас и погибнет раньше, то другой еще с большей силой, удвоенной энергией возьмется за двоих».

У Феликса были сомнения другого рода: он боялся, что его личное чувство может помешать будущей работе, наличие самого этого чувства, роковая необходимость разлуки, стали серьезным испытанием. К тому же мог ли он, считавший себя эгоистом, «испытать когда-либо такое чувство... не должен ли я все порвать, забыть, чтобы не сделаться зверем?» Ссылка, постоянные трудности ставили новые и новые вопросы: «Да разве я лично счастлив быть могу, – писал он 26 апреля 1899 г., – разве могу дать кому что-либо кроме одних только огорчений, разве я могу долго при бездействии, когда сам недоволен собой, дружно жить с кем-нибудь?» Но все же главное сомнение, как и у Маргариты, исходило тоже из борьбы двух чувств – личного и общественного. «Как бы то ни было, эти 2 чувства или чувство, разделенное в 2 стороны, – писал он 30 января 1899 г., – в моем сознании брало вверх то одно, то другое, между ними происходила борьба из-за ревности, из-за первенства, потому что меня охватывало больше то одно, то другое. И как я ни старался убедить себя, я мог убедить не чувства свои, а ум только».

Однако все сомнения уходят прочь, и Феликс пишет, что «хотя мы так мало жили с то-

бой, однако бросить все, порвать ни Вы, ни я не в состоянии будем». В его письмах слова «дело», «борьба», «работа» являются ключевыми. Ведь будущее потребует включиться в жизнь, полную лишений, страданий и мужества. И «чем сильнее чувства, хотя и личные», тем более они значимы в общественном отношении, раз человек без жизни, борьбы и общества не может существовать». И будущее Дзержинский видел в общей работе, которая «нас окончательно соединит и будет нам во сто крат лучше, чем если бы мы не встретились и не полюбили друг друга», и «будем вечно, вечно бороться до последнего вздоха... за светлое будущее, которое хотя и не придется нам видеть».

Приблизить ради других светлое будущее, которое им не придется увидеть — вот смысл и содержание всей жизни, программа действий настоящих людей, думающих не о своем благе, а о миллионах других. Поэтому «жить личным счастьем — счастьем, когда миллионы мучаются, борются и страдают, когда по тюрьмам гниют и с ума сходят, стуча головами в одиночках, когда вся земля стонет от ига, против которого мы боролись и за которых мы готовы жизнь свою отдать — и сознательно здесь искать счастье, относительно хотя бы только — это возмутительно, это невозможно».

И с гордостью несколько позднее Феликс Эдмундович написал: «Я жил недолго, но жил!».

А любить для него — «это значит вместе работать, вечно вместе стремиться и бороться за лучшие дни, бороться со всем тем злом, которое гнетет, подавляет души и дела наши, не позволяет нам ни минуты быть веселыми и спокойными. Мы проснулись, нас чувство подняло, встряхнуло. И если оно действительно сильно, если мы не ошиблись в своих чувствах, если оно *довольно** есть, оно должно проявиться и проявится именно в борьбе с самим собой, в более энергичном занятии».

Борьба с самим собой, постоянная забота о самовоспитании, самосовершенствовании... Феликс считал, что он и Маргарита далеки еще «от таких, какими они должны быть», а лично он «не сложился еще».

Полагая, что Маргарите легче преодолевать трудности, что она умеет чувствовать сильнее и глубже и обладает характером более постоянным, для себя он поставил задачу бороться с укоренившимися в нем отрицательными чертами и надеялся выйти из этой борьбы победителем, потому что в этом ему поможет любовь: «Помогайте только, насколько сил Вам хватит», «поддерживайте, как только можете, иначе печально сложится жизнь наша». Он просит не идеализировать его, подмечать не-

* Здесь и далее по тексту статьи и писем курсивом выделены слова, подчеркнутые Ф. Дзержинским.

симпатичные черты – иначе он не станет таким, каким она хочет его видеть. Ему страшно подумать, что она ошибется и разочаруется, «ведь как тяжко, невыносимо, смертельно тяжко будет тогда и Вам, и мне. Никогда, прошу Вас, ради всего, не старайтесь и противьтесь инстинктивному желанию идеализировать меня... Вы браните меня, а не хвалите. Никогда не пишите похвал. Я буду стараться быть лучше, серьезнее, самостоятельнее, умнее во сто раз больше, если меня бранить...»

Серьезный душевный надлом у Феликса произошел во время поездки в Слободское на освидетельствование уездной медицинской комиссией на предмет годности к военной службе. В середине февраля 1899 г. комиссия признала Дзержинского негодным к военной службе как тяжело больного человека, обреченного на скорую смерть. Доктора предположили у него серьезную болезнь, «вроде чахотки». И Дзержинский писал Николаевой: «Жизнь моя коротка, и сколько муки, в сущности, теперь сознавать, что столько горя потому я должен причинить. Моя жизнь коротка, а потому не должно и нельзя, чтобы другая была с ней увязана. Нет, это страшно больно, нет, мы будем жить одной душой, хотя, должно быть, никогда нам видеться не придется. Я постараюсь устроить свою жизнь короткую так, чтобы пожить ею наиболее интенсивно». Он просил

ее не волноваться, потому что это отнимает силы, которые «нужны будут и чтобы поработать за себя и в память за меня. Мне легче будет, тысячу раз легче, когда я буду знать, что то, что мы полюбили себя, нас побуждает к делу... и что бы с нами ни было, уйдет ли кто в могилу преждевременно, все-таки другой не перестанет работать, то есть любить его».

И все же никакой обреченности – он хочет «сознавать, чтоб как бы то ни было, а все ж таки буду полезен». На следующий день уже в более спокойном тоне Феликс пишет, что невыносимо чувствовать, что «ничего не сделал, ничего не принес с собой, кроме горя», и обращается к любимой со следующим словами: «Ведь любишь же меня – уж это успокаивает меня. Я оставлю себя и не исчезну бесследно. После меня будет заместитель, который целью всей своей жизни поставит работу, ведь личное совсем тогда исчезнет. Я спокоен, я уверен, что все это еще больше усилит нас, а особенно тебя».

В ссылке Ф. Дзержинский старался не быть оторванным от революционного движения. Сведения он получал из писем, и, как правило, вести были негативными. В 1899 г. многие организации были разгромлены, немало революционеров кончило свою жизнь на виселице, гнило в тюрьмах и на каторге или отбывало ссылку. Борьба подорвала силы одних, другие стали искать иные пути. И все же власть

боялась революции. Даже в Кайгородском она принимала превентивные меры: из села перевели в другие места врача, учительниц, фельдшера, всех ссыльных выдавали за врагов. Поэтому даже приехавшая молодая учительница боялась шпионов.

А для борьбы нужны были энергичные, самостоятельные люди, и Дзержинский верил, что «жизнь скоро их должна выдвинуть, дать им силы продолжить борьбу с большей силой, и все пойдет своим чередом, и слезы заглушатся криками "Вперед!"». Это заставило его «совсем забыть о личном своем, и мне только хотелось туда, туда поскорей, за какую бы то ни было цену». Однако пришло и понимание, что он «должен заниматься, быть и здесь полезным для дела тоже».

А полезным мог быть только хорошо подготовленный и физически, и нравственно, обладающий необходимыми знаниями революционер. У ссыльных всегда было одно преимущество — свободное время. Но им можно было распорядиться по-разному: одни отходили от всякой общественной деятельности, другие — спивались, третьи и здесь боролись, отстаивая свое достоинство. Борцом и в ссылке был Дзержинский. В письме к Маргарите 31 января 1899 г. он вспомнил о поведении одного из ссыльных, который в прошении губернатору жаловался на его подчиненных (полицей-

ских), но по существу это было заискиванием перед высоким чиновником: «ты, мол, в этом не виновен, а все это интриги местных, ты, мол, не такой, как местные, нельзя ли под твое крылышко попасть?» Этот проситель своим смиренным низкопоклонством предоставил губернатору удовольствие «иметь даровое представление шутов хуже, чем гороховых». Феликса злили подобные манеры, он предпочитал лучше молчать.

Важнейшей отличительной особенностью Ф. Э. Дзержинского было постоянное стремление «учиться, учиться и научиться». Он был благодарен Маргарите за то, что она пробудила в нем чувство, которое заставило снова заняться самообразованием. «Иначе, – писал он, – я в сущности не любил бы Вас».

Во главу угла повседневной работы Феликс решил поставить чтение и постараться «всеми силами преодолеть и леность свою, и отнимающую всю силу неудовлетворенность и направить эту последнюю на то, что мы можем здесь сделать», «втянуться в занятия, занятия должны сделаться необходимой потребностью».

Необходимость пополнения знаний вызывалась прежде всего тем, что Феликс вступил на тернистый путь, как и тысячи других революционеров, стремившихся преобразовать мир даже ценой своей жизни. Вступил на волне революционной романтики, малоподготов-

ленным, без жизненного опыта и необходимого образования. В его свидетельстве о выходе из гимназии отмечалось, что «в бытность свою по VIII класс Виленской гимназии поведения был отличного и оказал при удовлетворительном внимании, удовлетворительных успехах, удовлетворительном прилежании» посредственные успехи в науке... О том, что означало слово «удовлетворительно» видно из свидетельства, где стояли следующие оценки: одна «четверка» (по Закону Божьему), две «двойки» (по русскому и греческому языкам), по остальным предметам — «тройки».

Но важнейшей отличительной особенность и в юности, и в зрелые годы Дзержинского было постоянное желание учиться. Часто в его письмах из Нолинска, Кайгородского, из Александровского централа, Варшавской цитадели встречаются признания: «я учусь», «я читаю, учусь», «с утра до ночи читаю», «проходят дни за чтением», «время я провожу преимущественно за чтением», «читаю теперь больше, даже 8 часов, совсем почти не гуляю». Он выражает удовольствие наличием в Нолинске хорошей земской библиотеки.

Такие люди, как Ф. Дзержинский, не могли быть необразованными. Даже не имея законченного школьного образования и вузовской подготовки, они во многом превосходили других, и все потому, что не стояли на мес-

те, их образование шло и путем пополнения знаний в ходе практической работы. В ссылке он организует свои занятия, зачастую отказываясь не только от охоты, но и от прогулок; разрабатывает свою систему пополнения знаний, умственного труда, приучается систематически излагать свои мысли на бумаге — «иначе думать не научусь». И снова в этом должен помочь любимый человек — «умственное занятие само по себе меня совсем удовлетворить не может, мне необходима какая-ниб[удь] посторонняя сила, которая бы меня заставила». Юноша хотел заслужить уважение «посторонней силы» «в том отношении, что не был тряпкой и могу заставить себя серьезно подзаняться», и это желание заставляло его «заниматься, не терять времени».

Сначала Феликс наметил несколько вопросов, по которым следовало собирать материал, чтобы на его основе попробовать написать что-либо самостоятельно: 1) зависимость нравственности от общественных отношений, 2) чьи интересы и как охраняются в Российской империи, 3) роль интеллигенции в культурном и революционном движениях. Он понимает, что писать научную работу ему пока что трудно, поэтому хочет начать писать на темы, по которым уже сложилась своя точка зрения. Он видит темные стороны жизни, сознает и ощущает их. А бороться против суще-

ствующего строя можно лишь, зная его во всех мелочах и деталях. Поэтому он наметил прежде всего взяться за изучение законов, учреждений, системы банков, синдикатов, самоуправления и т. д. «И это должно быть важнее всего».

Еще юношей Феликс увлекся чтением книг французского теоретика анархизма П. Ж. Прудона и французского социалиста-утописта К. А. Сен-Симона, немецких философов И. Г. Фихте, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля и др., которые своими концепциями отвлекли его от религии. В Кайгородском же он наметил для себя изучить работы английских экономистов Джеймса и Джона Стюарта Миллей, русского публициста и одного из теоретиков народничества Н. К. Михайловского, экономиста С. А. Маслова, философа, экономиста и богослова С. Н. Булгакова, основоположников научного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса. В сфере его интересов находились история, философия, политэкономия, психология, а также произведения И. С. Тургенева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Э. Л. Войнич, И. В. Гёте и др.

Свои занятия он распределил так: с 8 до 10 часов – уборка и работы по хозяйству, чай, с 10 до 12 – немецкий язык, с 12 до 14 – чтение книг по экономике, с 14 до 17 – обед и прогулка, с 17 до 19 – легкое чтение и публицистика, с 19 до 21 – чай, с 21 до 24 – писать и читать «серьезные книги», в воскресенье – отдых и визиты.

Феликс дает ряд советов Маргарите:

1) Запастись достаточным знанием для революционной работы, не бояться того, что в остальном можно «остаться дилетантами и полными даже невежами». Помнить, что «наука важна постольку, поскольку она может найти применение в жизни», общие же теории изучать, «чтобы заставить башку свою думать». При этом следует прежде всего прибрести «более насущные знания». Так, незачем усердно браться за метафизику, которая не может ни обновить мировоззрение, ни дать положительных знаний; «надо избегать застрять в философии, потому что она часто учит играть только словами и не имеет никакого, по крайне мере, для нас, отношения к жизни».

2) Больше читать, изучать книги общественного содержания: исторические, по политической экономии, описание положения рабочих, сравнение России с Западной Европой, очерки развития производительных сил.

3) Если материал плохо усваивается или не удается иногда его понять, то надо критически к этому отнестись, ведь это тоже принесет пользу хотя бы тем, что заставит читать другую литературу, «менее мудреные книжки, потом со временем поймешь, что теперь непонятно, туманно и неясно».

4) Не сразу можно усвоить содержание книги, особенно требующей большой эрудиции.

Чтобы критически отнестись к ней, надо и теорию познания знать, и установить философскую связь между свободой и необходимостью. Самое главное, чтобы понять доказательства автора, нужно ознакомиться с материалом, поставить вопросы для полемики.

5) Книгу читать с карандашом и помечать главные мысли, записать свой взгляд, чтобы потом проверить себя.

Феликс отмечает, что одному «заниматься прескверно», все лучше усваивается в процессе коллективного изучения, потому что «умственная работа требует общества, в общественном споре голова лучше работает».

Письма молодого Дзержинского не только о любви к женщине, но и наглядное свидетельство формирования его мировоззрения. Для понимания всей последующей жизни «рыцаря революции» читателю крайне важно ознакомиться с его суждениями о прочитанных книгах. Напомним, что ему исполнился 21 год, но он иногда вступал в научный спор с маститыми учеными. Основные положения прочитанных книг обсуждались в переписке влюбленных.

Предметом спора с Джеймсом Миллем в этике стало учение об утилитаризме, в политэкономии – положение о трудовой стоимости. Д. Милль считал общественную пользу высшим принципом и критерием морали, не находящей полной реализации в жизни людей.

В преданности общему благу он усматривал источник личного счастья. В книге Д. Милля «Элементы политической экономии» игнорировалась теория трудовой стоимости и утверждалось, что общая доля заработной платы в национальном доходе определяется естественным фактором и не зависит от результатов классовой борьбы. Его сын в работе «Утилитаризм» (1863) исходил из концепции опытного происхождения нравственных чувств и принципа, по которому ценность поведения определяется доставляемым им удовольствием.

Феликс надеялся в теории утилитаризма найти объективное объяснение того, почему люди придерживались и придерживаются различных нравственных понятий, почему понятия видоизменяются и как они отражаются на субъектах, короче – найти весь механизм нравственной эволюции. Он считал, что теория «не должна быть догматической, т. е. выставляющей известные нравственные понятия за верные, а другие – за ошибочные». Внимательно прочтя главы об утилитаризме, о верховной санкции принципа пользы и о доказательстве принципа пользы, он отметил нелогичность, непоследовательность и догматичность авторов.

В их определении «полезного и счастья уже заключается невозможность дать научное значение новой теории. Ведь удовольствия и страдания бывают сами *противоречивы* и *разнообраз-*

ны в гораздо большей степени, чем нравств[енные] понятия». А пояснение превосходства возвышенных умственных наслаждений перед чувством, как отмечал Дзержинский, «вполне рационально»: «Человек не может отказаться от этих чувств и потребностей, которые он приобрел. Но суть не в том, чтобы объяснить, что человек поступает согласно со своими чувствами и потребностями, а в том, чтобы доказать, что чувства и потребности людей определяются пользой (общ[ественной], классовой или личной)». Миллю следовало бы изучить все характерные нравственные понятия людей различных времен и показать их пользу и механизм влияния данного принципа на совесть человека.

Вместе с тем Феликс признал, что в его критике Милля может быть «много смешного», вызванного исключительно желанием поспорить, к тому же собрать все возражения в единую систему он не сумел. Однако теорию утилитаризма он «совсем отбросил... и выбросил даже то, в чем был сам до него убежден».

С. Н. Булгаков в своей работе «О рынках при капиталистическом производстве» (1897) доказывал несостоятельность народнических представлений о невозможности развития капитализма без внешних рынков. Он ясно показал, что капитализм сам себе создает рынок и его развитие возможно и без внешних рынков в том смысле, как их понимают народники.

«Книга, — писал Дзержинский, — по-моему, очень и очень важная, хотя и трудная. Очень много времени на нее потратил и все-таки одного параграфа не одолел, а именно об обороте капитала». И эта книга дала ему много и для постановки некоторых новых вопросов, «и для большего уяснения вопросов старых». Однако и с автором книги Феликс не во всем согласен. Например, в ее предисловии цитируются слова К. Маркса, что благодаря пониманию законов развития нельзя перешагнуть ступени естественного развития, а только можно «сократить и облегчить мучения родов». Он же счел это идеализацией, прямым противоречием всему материалистическому пониманию истории.

В течение нескольких дней Дзержинский одновременно читал запоем Н. К. Михайловского о том, что такое прогресс и счастье, и второй том «Капитала» К. Маркса. Он старался уяснить, как происходит становление капитализма, и замечает, что, вследствие конкуренции, прибыль на капитал должна иметь тенденцию быть равной во всех производствах, иначе капиталистическое производство было бы немыслимо, а прибавочная стоимость на весь национальный капитал определяется количеством труда, эксплуатируемого данным капиталом. Но Феликсу все же неясно, каким образом Маркс доказал свою теорию, поэтому надо его еще раз прочесть, но начать следует с

Ф. Энгельса. Для понимания работ К. Маркса Феликс рекомендует Маргарите статьи из «Научного обозрения». В них объясняется понимание Марксом ценности и намечаются пути разрешения противоречия в том, что ценность определяется трудом абстрактным и что в действительности меновая ценность не соответствует трудовой, показывается, как квалифицированный сложный труд сводится к простому. Из писем видно, что Дзержинского в это время больше всего интересует политэкономия, и в частности закон уравнения прибыли и согласования с ним теории о ценности. Поэтому он с интересом прочел ряд работ Г. В. Плеханова (Волгина). Дзержинский полностью соглашается с автором в критике всех направлений народничества. Он не понимал идеализацию народниками докапиталистического натурального уклада, при котором также нет выхода из трудного положения для беднейшего населения; ведь, присмотревшись к жизни, такой, «как она есть, можно порядком на них негодовать, что философствуют и только философствуют вместо того, чтобы заняться конкретным делом».

«Присмотревшись к жизни...» — это слова о себе. Жизнь в Кайгородском подтверждала выводы, к которым самостоятельно пришел Дзержинский. Он видел, что жизнь крестьян тяжелая, можно работать только в лесу: пилить,

рубить и возить дрова лесопромышленникам. Но заработки скудные, к тому же купцы обсчитывают народ и наживают капиталы. Жизнь в деревенской глуши темная, полная постоянных хлопот, «недоимок и платы неимоверной за требы». «И что в ней можно сделать?» — задает себе вопрос Феликс и сам же отвечает на него: надо поддержать «более симпатичную часть» деревни, дать ей образование, но оно, к сожалению, ведет к еще большему разделению на богатых и бедных, потому что более образованный на деревне может выдвинуться, «быть более обеспеченным в борьбе за существование, т. е. сделаться должен будет волей-неволей эксплуататором». А убедить крестьян создавать артели на основах, не допускающих ничьей эксплуатации, фактически нет никакой возможности. А почему? Да потому, что в деревне даже сельскохозяйственные орудия производства еще первобытные. Например, вместо кос какие-то косули, коротенькие сохи вместо плугов. Да и культура крестьян на крайне низком уровне. Например, черные бани: низенькие, грязные, нет места, где раздеться, плохо отапливаемые, хотя дрова под рукой. В таких банях можно легко простудиться, получить ревматизм, да и вымыться порядком нельзя, но крестьяне говорят, что для них и так хорошо и деды их так же мылись. В большинстве изб грязно, посуду редко моют, ссыльным прино-

сят молоко в немытых горшках из-под каши. «Нет, — пишет Феликс Маргарите, — только не зная деревню, можно ее идеализировать, можно чувствовать влечение к этим людям. Правда, тут нет шуму городского, его разврата, крайней нужды городской, тут больше можно найти удовлетворения, быть может, эстетического, но тут, в этой тишине, в этом болоте столько мерзостей, пошлости есть, что тут друг друга покроют и за городом все-таки останется большой плюс, а в деревне его или совсем нет или сводится к самой незначительной величине».

Он отмечает, что только рабочие в критическое время могут пробудить деревню и поднять ее, но и то лишь затем, чтобы она потом снова упала в спячку и своим равнодушием и консерватизмом задавила усилия пролетариата вырваться из постоянной, вечной подневольности. Так было на Западе, во время Французской революции, когда, опираясь на мелкую буржуазию и крестьянство, крупный капитализм задавил рабочих и лишил их всех политических прав.

И когда Дзержинский столкнулся непосредственно с крестьянской «матушкой Русью», то ему тяжко стало на душе, потому что «*горестные* мысли приходят тогда, ведь не скоро добьешься свободы, когда еще такая чернь темная, эгоистичная в самом узком значении у нас является и долго еще будет решающей. Про-

тивны народники с их “устоями”». Поэтому «пусть капитализм шагает как можно быстрее и разрушит эту варварскую крестьянскую Русь и усилит нашу рабочую армию». Как видим, Дзержинский считал ошибочными теории народников, идеализировавших роль сельской общины и отрицавших путь капиталистического развития России.

Из всех этих рассуждений Феликс делает вывод: идти своей дорогой и только ею — «наше чувство так сильно, потому что нас обоих больше всего соединяет наша будущность, цели наши, я в Вас и в себе теперь уверен, что не отступимся никогда от своей веры — жить, чтоб трудиться». Не должно быть успокоения, остановки в движении на пути овладения знаниями. И всякое «спокойствие, затишье и даже душевная гармония, если они продолжительное время овладевают человеком, портят его, научают наслаждаться не самой жизнью, делом, но мыслью о нем, мысль тогда переходит мало-помалу во что-то совсем заменяющее жизнь, начинает вполне удовлетворять человека и тем самым делает неспособным жаждать самой жизни, т. е. жить, делает и мысль, и чувство неплодовитостью, они начинают удовлетворять сами по себе, вне отношения к борьбе, жизни. Всякое *сильное* чувство не может удовлетворяться такой ролью самонаслаждения, потому что без борьбы оно не может быть удов-

летворено при наших условиях». Дзержинского раздражало бессмысленное прозябание, вынужденное безделье, «которое могло бы довести до сумасшествия, если бы не спасала более широкая мысль, понимание неизбежности и необходимости этого прозябания, понимание того, что оно является ценой радостного и творческого будущего, приближающегося к нам в аду современной жизни». И не случайно именно в эти годы у Дзержинского сформировалось отрицательное отношение к интеллигенции. Будучи интеллигентом, как говориться, с головы до пят: по происхождению – сын учителя, по призванию – агитатор, учитель народных масс, он был человеком без «интеллигентщины», которая убийственна для души, потому что «влечет и опьяняет, как водка». И все же российская интеллигенция имела преимущества перед заграничной. Он поясняет Маргарите, почему именно так: в России другие условия, иная жизнь, иные люди, они не примирились с господствующим порядком, интересы буржуазии не удовлетворены, поэтому здесь «больше жизни, чем у заграничных», там интеллигенция, как представительница буржуазии, уже не имела ничего общего с передовыми людьми.

В письмах в Нолинск Феликс осуждал Маргариту за увлечение произведениями И. С. Тургенева: «Я ненавижу его за то, что под

его влиянием человек начинает жить больше созерцанием, чем борьбой. Я ненавижу созерцание, раз оно им только останется, оно ослабляет человека, оно дает ему ложное представление о жизни, оно научает ценить, уважать красивое, но не дает сил самому участвовать в этом красивом, быть частицей его. Но ведь все, что красиво по своему содержанию, то живо». Он ненавидит повести, романы писателя, дающие эстетическое наслаждение, которое не позволяет человеку видеть и испытать настоящее чувство красоты. Под таковым Феликс понимает активную роль в борьбе; «только тогда оно может принести огромную пользу, когда, возбудив чувство красоты, не лишает его сознания всей гадости жизни и самого себя и когда эту противоположность усиливает до такой степени, что человек борется с жизненной и своей личной низостью». Он советует Маргарите: «Бросьте Тургенева!» – и заявляет: «Если бы мог бы, стер бы я его с лица земли, чтобы и помину его не было... Он учит только созерцать, а не бороться, он учит плакать, а не проклинать, он учит восхищаться, а не восхищать, себя любить, а не жаждать, не любить, а не ненавидеть, он возвышает чувство, а не действие, душу, а не проявление ее! Прочь с ним!»

И все же Феликс был слишком категоричен в оценке творчества великого русского писателя. Не секрет, что Тургенев стоял на

либеральных позициях, не верил в необходимость революции. Но в его рассказах и очерках чувствуется любовь к крепостном мужику, умному, толковому, но бесправному. Поэтому не случайно именно к книгам Тургенева обращались передовые люди, находившие в них убедительные аргументы для отмены крепостного права в России. В романах и повестях Тургенева особое место отводится русской женщине. Женская натура нашей соотечественницы, по мнению писателя, – цельная, бескомпромиссная, чуткая, мечтательная и страстная. В ней воплощено ожидания нового и героического. Прочтем внимательно письма юного Феликса Дзержинского и убедимся, что именно такой он видел свою избранницу.

Что же касается литературных пристрастий Дзержинского, отметим его увлечение книгами о судьбе итальянского революционера, одного из вождей национально-освободительного движения Джузеппе Мадзини, и народного героя Италии, борца за объединение страны Джузеппе Гарибальди. Одной из любимых книг Феликса был роман английской писательницы Э. Л. Войнич «Овод». Читал Дзержинский и романы Д. Н. Мамина-Сибиряка, рассказывающие об истории промышленно-заводского производства и жесткой борьбе интересов и честолюбий на Урале.

У молодого Дзержинского немало рассуждений на философские темы: о нравственности, альтруизме и эгоизме, о правде и лжи и о многом другом.

Нравственность он рассматривал как общественное явление, его интересовало только содержание и мотивировка нравственных понятий людей, а не проблемы нравственных способностей человека вообще, т. е. не область чистой психологии. «Нравственность, – писал Феликс, – есть продукт общественного развития, развития общественных отношений людей, вытекающих из экономических отношений, которые, в свою очередь, зависят от развития производительных сил, технической базы этих сил. Это лишь взгляд a priori, вытекающий из всего моего мировоззрения». И следует отличать нравственное понятие «рабов, крестьян, рабочих на некоторой стадии их развития, что их эксплуатация и мучения вполне нравственны, что воля Бога такова, что иначе быть не может, что если бы он был богатым, паном, собственником, то он был бы таковым же».

Что же касается таких понятий, как альтруизм и эгоизм, то он не согласен с Маргаритой, которая, по его мнению, не видела большой разницы между ними. В ее понимании альтруизм и эгоизм были связаны с поступками и мотивами действий людей. Но в то же время нельзя между альтруизмом и эгоизмом провести резкую чер-

ту. А чтобы понять мотивы поведения людей, необходимо поставить себя в различные условия, сопоставить поступки и условия, и «лишь только тогда можно будет говорить что-либо положительное о мотивах личности и кто он таков, альтруист или эгоист ли, или ни то, ни другое».

И совершенно неожиданно звучат рассуждения Дзержинского о правде и лжи в политической борьбе: «Врать и лгать, и говорить неправду, мне кажется, можно сколько душе заблагорассудится, раз это ни к чему дурному не влечет и раз человек не чувствует в каждом отдельном случае, что он не должен врать, что это бесчестно. Для меня не существует формулы абстрактной, так далекой от жизни настоящей: не ври, будь правдивым, всякая ложь есть нечестность... Я правду говорил тоже часто, когда я чувствовал, что ложь будет подлостью конкретною. Я не предписывал себе никогда, в каких случаях я должен правдивым быть, а в каких я могу врать. Как одно, так и другое, зависят от того, что ты за человек, в чем ты находишь удовольствие, как относишься к жизни, к другим людям, — одним словом, зависит от всей нравственной сущности твоей, а не от того, что ты будешь признавать ту или иную формулу, предписывать чисто умственным путем правила своему отношению к людям. Раз я сознаю, что ложь вредна в данном случае, я не вру, потому что сознание этого вреда мне не позволя-

ет. Но ведь что вредно и что нет, определяется моим складом нравственным, а никак не отвлеченной формулой».

Наряду с углубленным изучением общественных наук, Дзержинский немало времени уделял совершенствованию знаний по немецкому языку, читал «Фауста» И. В. Гёте, стараясь проникнуть в проблему постижения жизни, веры в силы человеческого разума, в то, как человек способен переделать действительность. Феликс не испытывал особой трудности в изучении иностранных языков, ведь в гимназии наряду с немецким он учил русский, латинский, греческий и французский языки.

Как мы упоминали, в детстве Феликс был очень религиозен, но уже в гимназии стал атеистом и не скрывал своего отрицательного отношения к церкви. В Кайгородском он еще больше укрепился в своей позиции, видя поведение попа, который обирал свою паству. Поп пьянствовал, брал деньги с крестьян за крещение младенцев, за отпевание умерших, за венчание, поэтому «абсолютно никто не уважает здешнего попа».

К попу Дзержинский относился отрицательно, а вот Евангелие читал: «поможет в будущности, пригодится».

С февраля 1899 г. переписка Феликса и Маргариты становится реже, причиной чего была цензура. Несмотря на то, что он не дал

согласия «на контроль своих мыслей, своей совести», жандармы письма распечатывали и просматривали. У Дзержинского было большое желание перевестись из Кайгородского: «здесь нет общества — слабый отголосок от жизни, а я, я — боюсь за себя». Но надежд на перевод было мало. Приходилось заботиться и о своем здоровье, хотя местный врач уверял, что «никакой эмфиземы и катара нет, что это выдумка, чтобы не приняли меня в солдаты как бунтовщика». Когда Дзержинский проходил в Слободском призывную комиссию, предполагалось, что его после отбывания ссылки отправят служить на российско-китайскую границу, в Амурскую область. Но стать военным ему пришлось лишь в годы Гражданской войны.

В последних письмах влюбленные рассуждают о будущем. Феликс больше жил настоящим, Маргарита — будущим. На ее переживания о непрочности отношений он отвечал: «Зачем думать о том, что *возможно* в будущем. Все возможно. Возможно, что кто-ниб[удь] из нас в ссылке может *заболеть* и ноги протянет. Нельзя же ведь в жизнь свою вводить *область только возможного* и грызть себя тем, мучить... Помните только, что я тут никогда не совру и, что бы ни было, я напишу сейчас же, раз это может хоть сколько-нибудь пошатнуть наше взаимное доверие, нашу душевную близость, наши отношения. Но если и Вы всегда будете

откровенны, то зачем, зачем теперь волноваться этим, строить такие предчувствия, которые ничего кроме плохого принести не могут». Сначала Феликс сделал предложение пожениться и переехать ей в Кайгородское, затем передумал. «Да нельзя ни за что, чтобы ты на все время приехала ко мне, – писал он. – Я смогу совсем разбить твою жизнь и тем разобью окончательно и свою собственную. Венчаться тоже, по-моему, надо будет избегать всеми силами. Ведь мы никогда не должны быть мужем и женой, зачем же связывать себя, ограничивать свою свободу и самому сознательно усиливать искушение и тем ослаблять свои уже надорванные силы... Нет, нельзя, чтобы ты на все время ко мне приезжала. Нельзя нам теперь, когда нет у нас дела, венчаться. Дорогая, ведь Кай[городское] – это такая берлога, что минутами невозможно устоять не только против тоски, но даже и отчаяния. Все это минутами, правда, но в эти минуты можно наделать столько глупостей, что они портят всю жизнь». А для того чтобы принять решение о женитьбе, «надо холодно рассудить, не надо с ним спешить, потому что это шаг, который потом уж вернуть нельзя будет», страстное желание вспыхивает под влиянием минуты, «но надо решиться тогда, когда оно слабее, не так интенсивно, т. е. когда вполне беспристрастно можно разобрать и "за" и "против"». Он про-

сил дать ему два месяца для решительного ответа. 19 февраля 1899 г. Феликс писал Маргарите: «Будем вечно друзьями, самыми близкими, вечно будем поддерживать друг друга, вечно будем жить вместе». Но этому не суждено было сбыться.

27 августа 1899 г. Феликс сбежал из Кайгородского, так как его «тоска замучила». Взяв у хозяйки П. Лузининой дневной запас продовольствия, на лодке проплыл по верховьям Камы, потом, укрываясь в густых лесах, благополучно добрался до железнодорожной станции, сел в поезд и приехал в Вильно значительно раньше, чем туда поступил полицейский циркуляр о розыске «опасного преступника».

И снова работа в революционном рабочем движении в польских губерниях Российской империи. В декабре 1899 г. в Варшаве он совместно с Августом и Антоном Россолами создал «Рабочий союз социал-демократии», а на конференции в Вильно его избрали в состав Совета партии, в январе 1900 г. в Минске он участвует в работе социал-демократического «Рабочего союза Литвы», на котором был избран ЦК объединенной Социал-демократической партии Польши и Литвы. Дзержинский входит в его состав.

Активная работа Дзержинского была прервана вторым арестом в воскресенье 23 января 1900 г. в Варшаве на квартире сапожника Г. Ма-

лясевича, во время сходки рабочих. На допросе он заявил, что является врагом царизма. Как опасного политического преступника Дзержинского поместили в X павильон Варшавской цитадели, затем в апреле 1900 г. перевели в Седлецкую тюрьму.

20 октября 1901 г. его приговорили к ссылке на пять лет в Восточную Сибирь, в город Вилюйск Якутской губернии. В тюрьме он получил телеграмму, а несколько позднее письмо от Маргариты, которая писала, что по-прежнему любит Феликса, ее отношение к нему «нисколько не изменилось». Но изменения произошли у Дзержинского. В письме к своей первой любви он указал, что хочет забыть прошлое, о котором у него осталось воспоминание, которое мучит его, теперь же он живет «и личной жизнью, которая никогда хотя не будет полна и удовлетворенная, но все-таки необходима». А будущее неопределенно: «буду или вечный бродяга, или же буду прозябать где-нибудь в Жиганске или Колымске», а «с бродягой подружить — беду нажить». Им не придется встретиться никогда, поэтому он просит понять и простить его и не писать ему: «А затем будьте здоровы, махните рукой на старое и припомните те мои слова о том, что жить можно только настоящим, а прошлое это дым. Еще раз будьте здоровы и прощайте».

Последние строчки были написаны 10 ноября 1901 г.

«Феликс заявил мне, что он не может искать счастья, когда миллионы мучаются, борются, страдают. Вот так мы и выяснили наши отношения, – грустно писала М. Ф. Николаева в своих воспоминаниях. – И он был искренен, он хочет целиком отдаться революции. Я буду помнить его всю жизнь».

Николаева ушла из жизни в 1957 г., в возрасте 84 лет. Последние годы она работала в Кисловодске экскурсоводом по лермонтовским местам, написала немало статей о творчестве великого русского поэта. После смерти у нее была найдена шкатулка с письмами Дзержинского.

Уважаемый читатель, Вам судить, каким был в юности будущий «рыцарь революции», «солдат великих боев». Но думаем, что Вы согласитесь с тем, что это был человек беспокойной души, стремившийся преобразовать мир, приблизить «светлое будущее» для миллионов людей, и любовь его была подчинена достижению этой цели. И в последующем на его пути избранницами становились женщины, которые разделяли с ним все невзгоды, видели смысл жизни и свое высшее предназначение идти по жизни рядом с этим человеком.

Составители благодарят за всестороннюю помощь сотрудников Российского государственного архива социально-политической

истории (РГАСПИ): директора Кирилла Михайловича Андерсена, заместителя директора Валерия Николаевича Шепелева, начальника отдела научно-информационной работы Марину Сергеевну Астахову, главных специалистов Ирину Николаевну Селезневу и Михаила Владимировича Страхова.

Особая благодарность Людмиле Георгиевне Плехановой.

Письма М. Ф. Николаевой публикуются по автографам Ф. Э. Дзержинского, хранящимся в РГАСПИ. Ф. 76.Оп. 4. Д. 51. Л. 2–42. Редакторские конъектуры даны в прямых скобках.

А. А. Плеханов
А. М. Плеханов

Из автобиографии Ф. Э. Дзержинского 1921 г.



Уважаемый товарищ! Ваше письмо от 5.V получено мною только 9.VI. Моя краткая биография: родился в 1877 году. Учился в гимназии в гор. Вильно. В [18]94 году, будучи в 7-м классе гимназии, вхожу в с.-д. кружок саморазвития; в [18]95-м году вступаю в литовскую социал-демократию и, учась сам марксизму, веду кружки ремесленных и фабричных учеников. Там меня в [18]95 году и окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу сам добровольно в [18]96 году, считая, что за верой должны следовать дела и надо быть ближе к массе и самому учиться. Пощечины директору не давал, хотя и жил в постоянной с ним войне, будучи по характеру вспыльчивым и импульсивным. В [18]96 же году прошу товарищей посылать меня в массы, не

ограничиваясь кружками. В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией и рабочими верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим знаниям и т. д., а не совались не в свое дело, в массы. Несмотря на это, мне удалось стать агитатором и проникать в совершенно нетронутые массы — на вечеринки, в кабаки, там, где собирались рабочие.

В начале [18]97 года меня партия послала как агитатора и организатора в Ковно — промышленный город, где тогда не было социал-демократической организации и где недавно провалилась организация ППС. Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда. Тогда я на практике научился организовывать стачку.

Во второй половине того же года меня арестуют на улице по доносу рабочего-подростка, соблазнившегося 10-тью рублями, обещанными ему жандармами. Не желая обнаружить своей квартиры, называюсь жандармам Жебровским. В [18]98 г. меня высылают на 3 года в Вятскую губ[ернию] — сначала в Нолинск, а затем, в наказание за строп-

тивый характер и скандал с полицией, а также за то, что стал работать набойщиком на махорочной фабрике, высылают [на] 500 верст дальше на север, в село Кайгородск[ое]. В [18]99 г. на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила....

Ф. Дзержинский

Из дневниковой записи Ф. Э. Дзержинского

Село Кайгородское Вятской губернии. 1 декабря 1898 г.

1.XII. 98

Перо изменяет, это известно, но ведь делать-то нечего, что-ниб[удь] опасное писать не придется, а все-таки интересно вести свой дневник, глубже всмотреться в свои впечатления, в свою жизнь. Задумал я усердно взяться за работу, не знаю, как мне это пойдет, во всяком случае, дневник мне мно́го может в этом помочь, ведь часто бывает причиной бездеятельности то, что забываешь критически посмотреть на свою жизнь, что не видишь и не представляешь себе ясно всю мелочность и пошлость, которой тебя опутывает мало-помалу, как паутина муху. Часто сделаешь какое-то безоб-

разие и не подумаешь об этом, забудешь. Здесь же, на бумаге скрывать этого не придется, а поэтому это может меня двинуть вперед. Кроме того, польза и та, и самая главная, что здесь я вполне свободно буду рассматривать, раздумывать и давать себе отчет. Кроме того, привыкну писать, излагать свои мысли, что может мне в будущности оказать большую пользу. Одним словом, все данные за дневник. Поэтому я начну его сейчас же.

Зачем я вчера говорил все это, зачем я думал, что я должен это сделать? Ведь действительно, я не равнодушен, разве это не минутное увлечение от нечего делать? Мне хочется с ней говорить, видеть ее серьезные, добрые очи, спорить с ней. Если она дома, мне трудно читать, сосредоточиться, все думается о ней. А еще хочется, чтобы она пришла и позвала меня к себе. Почему это так, разве будет чувство мое развиваться. Нет, это не то. Она одна готова, только стоит на высоком нравственном уровне, она одна только может правду сказать в глаза, она обладает в высшей степени гражданским мужеством. Как же такой человек может не нравиться, особенно мне, жажду-

щему самому обладать этими качествами. Как жалко, что она не мужчина. Мы сейчас могли бы быть тогда друзьями, и нам жилось бы хорошо, как в жизни, право не могу сказать, но здесь в ссылке мы, поддерживая друг друга, могли бы с огромной пользой прожить это время. Женщин же я, право, боюсь. Боюсь, что дружба с женщиной непременно должна перейти в более зверское чувство. Я этого допускать не смею. Ведь тогда все мои планы, вся жизнь должна будет очень и очень сузиться. Я тогда сделаюсь невольником этого чувства и всех его последствий. Сдержать же себя тогда, когда уже данное чувство народится, будет уже слишком поздно. Петля уж так затянется, что сил моих не хватит порвать ее. Верно, что мне делать, как я должен себя поставить? Положим, трудно тут что-ниб[удь] придумать. Однако шаг уже сделан. Я нанял квартиру и буду жить с А. И. [Якшиным]. Положим, внутренне я не желал бы этого. Я хотел жить один, а хотел потому, чтобы для личных видов; вышло, однако, что согласился жить вместе, и уж теперь на попятную пойти не могу. Согласился я потому, что не хотел портить хорошие

отношения с А. И., что мне неловко было отказать, показать, что я такой эгоист. Теперь же я рассудочно доволен, что так случилось, но все ж таки теперь хочется одному пожить.

Как глупо, что я, как ни стараюсь, все же так и не могу не представить себя с лучшей стороны. Вот хотя бы сегодня. Я, колеблясь, согласился. А. И., заметив это, спросил о причине: причиной я выставил свою деликатность, что мне неловко будет эксплуатировать его. Как ни досадно на самого себя за это и как ни заставляю себя не выставлять себя лучшим, однако всегда как бы невзначай хвалю самого себя. Как это он со мной уживается, разве я уж такой ловкий актер.

Мне кажется, что рано или поздно, а мы не то чтобы поссоримся, а прямо она, узнав меня, прогонит от себя. Так должно случиться. Это будет лучше для нас обоих. А теперь для нас полезно не рвать своих товарищ[еских] отношений. Мне от этого польза большая во многом, для меня почему-то важно, я хотел бы заслужить ее уважение в том отношении, что я не тряпка, что я могу заставить себя серьезно подзаняться и это-то желание

меня и заставляет заниматься, не терять времени. Честолюбие мое может тут сыграть для меня важную роль: читать, умственное занятие само по себе меня совсем удовлетворить не может, мне необходима какая-ниб[удь] посторонняя сила, которая бы меня заставила. В жизни борьба — сама она заставляет. Теперь же этой силой может оказаться желание приобрести уважение в глазах импонирующей тебе личности. Конечно, приобрести уважение от какой-ниб[удь] дряни не может понравиться, потому что у нас не было бы в таком случае ничего общего. Какую может пользу принести наше знакомство? Я думаю, что я ей дам уверенность в себе, что может быть и очень полезной делу, может быть, удастся возбудить в ней желание узнать эту жизнь и принять в ней деятельное участие. Ведь в самом деле она, как мне кажется, ставит более всего личную душу, личные качества, она видит всю суть в усовершенствовании личных чувств, как сострадание, отзывчивость, чуткость, нравственность и т. д., т. е. черты, которые проявиться более могут только в личных отношениях. Я думаю, что только этих чувств может быть человек властелином и что тут

можно совершенствоваться, а что касается активного отношения к общественной жизни, то на это уже надо быть способным и иметь врожденное влечение к известной обстановке, надо от природы быть борцом. Вот, может быть, мне удастся пробудить в ней человека жизни, человека борьбы непосредственной, человека, который ищет активно жизнь, а не только реагирует на личном нравственном уровне на те жизненные явления, с которыми случайно приходится сталкиваться. А как это было бы славно считать другом человека борьбы и вместе с этим стоящего на высоком личном нравственном уровне. Может быть, нам и удастся мирно прожить это время ссылки, а потом — в жизнь, борьбу.

Нет, мне кажется, эту жажду жизни ничто во мне не в состоянии будет заглушить. Я скорее решился бы на подлость, мерзость, чем отказаться от того, чем только и можно жить. Но до подлости надо остерегаться доходить — сознание тогда вряд ли что заглушит и тогда придется кончать с собой, т. е. отказаться от личного и от борьбы. Поэтому я теперь берусь смотреть за собой. Как только окажется, то прекратить

раз навсегда возможность дойти до нее. Не жалею, потому что не буду жить один, потому что тогда трудно было бы бороться с собой, и я ходил бы туда постоянно и не мог бы овладеть собою. Теперь же это будет гораздо легче.

Письма Феликса Дзержинского из села Кайгородского, Слободского уезда в Вятскую губернию, Яранский уезд, город Нолинск, дом Д. К. Калитина, Ея Высокоблагородию Маргарите Федоровне Николаевой

(2 января 1899 — 27 ноября 1901)



1
Село Кайгородское. 2 января 1899 г.

Захотелось мне поговорить с Вами, ведь так довольно скучно и даже вредно для меня. Когда меня видят, понимают и бранят дорогие мне люди, я как-то подбадриваюсь, чувствую подъем и стараюсь вырасти, чтобы показать, что все ж таки я могу быть чем-нибудь. И Вам, милая, наверно, не весело, тем более что мы тогда не были осторожны. Положим, можно отгородиться от внешнего мира, игнорировать его и не обращать внимания. Но все это так можно равнодушно переносить, мне кажется, только при возбужденном состоянии, приподнятом, при обыкновенном же это может тяготить. Напишите все: ведь скука же, должно быть, у Вас теперь изрядная, не грустите только. Мы будем ведь жить хорошо, да и теперь ссылка для меня стала не так[ой] тягостной. Тюрь-

ма совсем меня придавила, мне трудно жить без любящих меня людей, абстракцией я никогда жить не мог.

Приехал я в Н[олинск], и что же? Думал, найду людей, займусь сообща, приду в себя — ничего этого до последнего времени не было. Наконец мы сошлись, я уж говорил, что боялся сначала, и даже долго, того чувства, которое стало овладевать мной. Потом почти для этого только ехать прочь, но что же заставило меня даже и не пытаться? Хотя и не ясно, но давно уже мне представлялось, что что-то тут есть. Я старался сам себя уверить, что это только дружба. Вы помните тот вечер, когда мы первый раз ездили? Как старался я тогда и себя, и Вас убедить, что мы только друзья. Боялся, сомневался и тогда я. После же этого вечера я уж почти что узнал себя. Но тут явилось сомнение — да могу ли я, считающий себя и действительно будучи эгоистом (а может быть, только холодным), испытать когда-либо такое чувство; если я его испытываю, не должен ли я все порвать, забыть, чтобы не сделаться зверем? Наконец, успокоился я нравственно, и теперь мне кажется, что может быть все отлично, хотя и грустно и тоскливо, но

без этого нельзя. Одно, что только меня смущает, это то, что Вы мало меня знаете. Но это не беда, чем дальше, тем больше будем друг друга узнавать, и какова бы ни была будущность *в возможности*, мы можем теперь считать ее возможно лучшей. Я до сих пор ни одного письма еще не получил, и Вы еще, может быть, не получили мое. Эх, какая даль, как подумаешь себе, ведь Вы там тоскуете и трудно даже Вам быть одной, и даже писем так долго нет. Все, все должно напоминать то, чего нет – ведь это должно быть на первое время ужасно.

У меня все ново, это как-то отвлекает отчасти, хотя и злит. А у Вас все по-старому, должны жить сами в себе, нет что бы отвлекло бы мысль, чувства Ваши. Были ли Вы в деревне теперь, как предполагали? Напишите же скорей, не отказывайтесь только от каких бы то ни было даже самых пустых развлечений. Книгами трудно забыться. Мысли новые, абстракция вообще мало, по-моему, действует на чувства, мало может их успокоить, она не дает совсем впечатлений. Их надо искать в жизни, в столкновении с людьми. Будут они и неприятны теперь, но это не беда. Возьмут они часть силы, энергии и тем

самым уменьшат напряжение в другом направлении. Я помимо воли поставлен в такие условия. Злит эта обстановка меня, тяготит даже, и иногда прогоняю даже людей, но все ж таки она отвлекает меня, а это теоретически хорошо. Положим, чтобы поставить себя добровольно в такие условия, надобно иметь или геркулесовы силы, или слишком мало чувства, однако не мешает сделать все, что можно и что дается только. Надо вообще чем-нибудь заняться, чтобы измучило человека. Как это живется у Вас там на чердачке, где столько жилось, где мы вышли победителями, куда я так часто переношусь теперь мыслями и воображением. Много, много я вынес оттуда. Я сделался теперь более годным, чем раньше. Человек без чувств – труп, я был им отчасти. Чем сильнее чувство, хотя и личное, тем более оно и в обществен[ном] отношении, раз человек без жизни, борьбы и общества не может существовать. Личное чувство меня теперь непосредственно поддерживает и заставляет работать. Но об этом довольно пока.

У нас сидит наш хозяин, разговаривает с А. И. [Якшиным], мешает мне. Кроме того,

должен я еще смотреть за самоваром (одна из моих обязан[ностей]). Поэтому покамест до свидания (а приедете?). Напишу еще много о жизни здешней, о прочитанном, об обществе и о всем. Уже поздно сегодня, надо спать ложиться, а ведь уже Новый год вчера начался. Мы вчера с А. И. докушали то, что дали Вы нам на дорогу. А. И. все берег, чтобы Новый год как следует встретить. Кофе даже пили. Видите ли, как мы здесь услаждаем свою жизнь! Сегодня мы даже на охоту ходили (положим, вернулись-то ни с чем) — нарядились в арестантские полушубки (мы в них всюду ходим, один отняли, да мы такой же прикупили), надели перчатки (как только посмотрю на них, сколько воспоминаний так живо представляется), ружье под мышку, да оказалось, что я совсем в охотники не гожусь.

Слушайте, не серчайте на меня. Вам это будет неприятно, но я это сделал, должен поэтому сказать. Не знаю, почему я вспомнил теперь об этом. Раз, когда нам с А. И. было особенно тоскливо, я сказал ему, что, быть может, Вы приедете, и нам будет тогда весело, а теперь нам надо подзаняться. Я сказал ему, потому что, право, он такой добрый, а

мне так тяжело было на душе, что сорвалось перед ним. Вы не любите и ненавидите болтливость, но жить с человеком, который столько о тебе заботится и которому я в сущности многим обязан и быть перед ним замкнутым — право трудно, по крайней мере, для меня. Впрочем, я сам не знаю, из-за чего я сказал. Напишите непременно, как Вы думаете об этом. Сердитесь ли? Я сам боюсь, что слишком болтлив. А покамест до завтра. Теперь А. И. устроил мою постель. Какой он, право, поистине первоклассный.

2
Село Кайгородское. 3–4 января 1899 г.

3/I. 99

Вот уже неделя сегодня, как приехали мы сюда, а кажется так давно, как выехали из Н[олинска], а впереди ведь еще столько времени. Здесь, положим, не хуже бы было, чем в Н[олинске], если бы можно было время от времени нам видеться и вместе позаняться. Здесь я чувствую себя даже лучше, чем как это бывало в Н[олинске] некоторое время. Меня там мучила сначала хандра, и такая, которой здесь мне никогда не придется испытать. Там меня давила пустота, которую я не мог заполнить. Теперь я чувствую себя иначе. И здесь тоска смертельная, особенно ночью, когда лежишь, не спишь, овладевает иногда, но эта тоска не отнимает у меня сил. Я стараюсь, чтобы время все было занято так или иначе, и это не тяготит меня, а работы покамест есть у нас довольно. Наняли квартиру – целую избу – две комнаты и

кухня, где Шор жил. Довольно чистая, да с нас слупили 5 рублей с дровами и с водой. Хозяйничать самим приходится. Пришлось всем заново обзаводиться. Мешают черти — здешние мужики. Устраивают на нашей квартире постоялый двор. Теперь праздники, так совсем незваные шляются. Вот только что 2 часа просидели двое и помешали нам. Прогнать как-то было неловко, а лампа всего одна.

Я сам не знаю, писать ли подробности нашей жизни, ведь скучна она изрядно. Все-таки напишу. Эту неделю мы истратили на покупки и розыски мяса, масла, яиц, горшков и т. п. Свежего мяса и яиц тут очень трудно найти. Приходится даже ходить за этим в соседние деревни. Хорошо еще погода теперь теплая, а то, говорят, что бывает до 40 градусов. До 20 градусов должно быть доходило, больше же еще не бывало.

А. И. и я устроили разделение труда, хотя покамест еще не совсем его соблюдаем. На мою долю падает уборка комнаты, постелей, поставить самовар — вообще чаевничание, а на него все, что касается кухни. Дрова носит хозяйка. Времени на это у нас идет часа 2–3, хотя потом уменьшится, в осо-

бенности для меня. Вообще на мне меньше забот, чем на А. И. А его, однако, стряпня занимает, все беспокоится, хорошо ли, и доставляет эта возня ему удовольствие. Вообще привык он к труду и без него ему тяжко. Чтение еще меньше, чем меня, его может увлечь, хотя все ж таки читает. Хуже всего бывает для него, когда заговоришь, чтоб больше почитал и уж не заботился так; и сам не знаю, как мне быть. Нолинск ли это сделал (на него мало внимания обращали, не выслушивали его даже, что он говорит, не давали высказаться) или вообще вся его тяжелая жизнь, полная лишений и борьбы за кусок хлеба, но он считает себя чуть ли не отпетым, как начинает думать об умственном, усидчивом труде и свой будущей общественной жизни. Он считает себя неспособным, а думать это о себе, это значит самого себя хоронить. Я всяким образом стараюсь ему доказать, что все это глупость, что это влияние тюрьмы, и теперь, кажется, он немного успокоился, потому что я перестал его убеждать взяться за серьезные книги. Читает он теперь беллетристику и думает этим втянуться в чтение. А сильный, право, он. Я сравниваю его с собой. Не знаю, перенес

ли бы столько, сколько ему приходилось, и теперь он бодрее меня чувствует себя. Как жизнь не сломала его, здоровье у него не так уж хорошее, а постоянно в движении, постоянно что-нибудь предпринимает, гораздо самостоятельнее меня. Сила и чувство протеста против всего, что гадко, мерзко, в нем сильно развито. Тут я даже не могу сравнивать себя с ним. Я могу совсем спокойно иногда и даже почти всегда пройти около чего-н[ибудь], что должно возмутить, касается ли это меня лично (это тоже бывает) или вообще. А в нем есть органический протест. Я более рассудочен, а он более естественный.

Кроме того, в нем есть много чуткости, что Вам так нравится. Право, не знаю, что мне делать, чтобы он так не заботился обо мне. Это глупо, глупо и даже преглупо выходит. И он меня не понимает. Он думает, что мне не все равно, будет ли обед недосолен или пересолен, постель мягка или тверда — для меня это, право, нуль. Скушал и забыл, бока еще не старые. Я ему это говорю, но выходит, он думает, что я из жеманства так говорю. Мне скучно заниматься хозяйством, я — лентяй, для меня все равно, по-

мыта ли посуда чайная утром или нет, и я стараюсь поскорее все кончить как-ниб[удь] и взяться за книгу. А выходит, что я сижу, читаю, а он работает. Я теперь не много работаю, но мне это надоедает; может быть, привыкну, а если нет, то будет скверно. Если за нас все это будет за плату делать [хозяйка], в таком случае мы оба не будем хозяйничать, а если он будет, и ему это нужно, то и я должен буду. Разве не преглупо? А исхода нет — один только — взять себя в ежовые рукавицы и свою часть исполнять. Положим, и для здоровья это не помешает. Вот о здоровье заговорил. Был у доктора. Нашел, что с глазами не так уже плохо, как Ребровский говорил. С ногой глупости — почти прошло, операции не придется делать. Грудь тоже ничего. И если [у]меня побаливала, то оттого, что мало движения употреблял и вообще не очень крепко сложена, а так ничего нет. Видите ли, как подробно я пишу о себе. Смотрите же — пишите все.

А все-таки много времени теперь зря прошло. Теперь до крещения народ попросту ходит постоянно к нам, как к новым, но просили мы уже некоторых, чтоб без дела не заходили. А интересные довольно здеш-

ние обыватели. Деревня для меня теперь прямо новость, так давно, ребенком еще, я жил в ней, да и то всегда в господском доме и почти всегда был паничем, не то, что теперь «ссыльный», хотя Абрашка (здешний ссыльный виленский рабочий) пускает здесь слух, что я чуть ли не миллионер. Здесь двое ссыльных, один из Вильно за стачку и кассу, а другой уголовный хохол-крестьянин. Первый раз пришлось мне встретиться лицом к лицу и иметь постоянные сношения с таким человеком, как этот Абрашка. Жизнь здешняя его совсем изломала. Пьет и пьет запоем — пропивает все, остался почти что ни с чем, все пропил, как уехали Шор и здешний доктор. Теперь новый. Живет милостыней, и не знаем, как повлиять на него, чтобы не пил и [не] просил милостыню. Кушает он у нас, за квартиру его платим, а денег боимся, да и нет смысла, давать. Попросил раз у нас 10 коп. выкупить свою рубашку, дали, и что же? Клялся, божился, руку давал, что на рубашку, и пошел, и не устоял, выпил. Первое время говорили, чтоб пьяный к нам не приходил, но это на него не повлияло. Должны были его отыскать сами и позвать на обед,

был пьян. Пропил шапку даже и проспал с пьянки на улице. Кажется, даже и отколотили его. Хорошо еще теплая погода. Откуда он только деньги берет? Просит, ему дают, и он в кабак. Сегодня первый день, что он был трезвый. Может быть, и бросит. Уже слишком мы его стыдили, напоминали о жене и детях, которые находятся в Вятке. Обещал, что более уже шабаш. Хотя трудно верить. Слишком уж вошло в привычку. Теперь надо слишком большого какого-н[ибудь] нравственного потрясения, чтобы бросить. Теперь, кажется, уже никогда я не буду идеологом пьянства — удовольствия в данную минуту, жизни только настоящею минутою. Как противно слушать пьяного жалобы. Он все говорит, что пьет с горя, что жизнь его тяжела, и тогда он плачет о своей Хайке, о своих ребятишках. Противно, больно и жалко, как он станет спрашивать настоятельно, что с ними, здоровы ли, он уже 3 месяца не имеет от них письма. Или же начинает петь песню, от которой он так уж далеко и которая уж не для него.

Уголовный работает в лесу. Тяжелая, пятикопеечная работа, да видно, привык к тя-

желой жизни, и поневоле привыкнешь, когда есть нечего.

С крестьянами здешними тоже немного познакомились. Сегодня у нас была здешняя пролетарка, хотела продать картошку. Муж ее 4 года тому помер, оставил ее с малыми ребятишками. Должна была отказаться от своей части, усадьба только осталась, некому было обрабатывать. С обществом она не в ладах. Сама признается, что запировала и загуляла, что делать ей нечего, ходит по крестьянским работам. И говорила про свое гуляние без нахальства и бравурности, точно так же, как предлагала нам свою картошку. И ходит к нам постоянно, предлагая то то, то се, то ради «покалякания», ведь они большие охотники до этого. Были у нас и степенные крестьяне — здешние судьи, любящие показать, что и они что-ниб[удь] слышали, и что-ниб[удь] узнать новенького. А. И. прослыл здесь за агронома, у него есть картины различных сельско-хоз[яйственных] машин, теперь нам должно быть трудновато будет запираться. Несколько раз приходили пьяные, надо было прямо прогонять, да и трезвым-то говорим, что нам надо заниматься, но они как-то не понимают, что поэтому им

надо убираться. Ходят к нам также и ребятишки, попросить, нет ли чего почитать, и прямо из любопытства. Скоро напишем к Сергею Алекс[андровичу]. Может, мог бы нам книг легких прислать. Ходили к нам также с советами, как лечить лошадь. Одним словом, двери почти и закрывать не стоит. Но это должно быть только первое и праздничное время, а потом должны будем прямо не принимать. Иногда мы пользуется друг другом и не пускаем, заявляя, что у другого голова болит или что-н[ибудь] в этом роде. Ходят к нам теперь почти каждый вечер ряженые, да только раз пустили. Первый раз я увидел такой маскарад. Смешно пляшут здесь по-своему. Лицо закрывают платком или сажей мажут, девушки в мужское, а ребята в женское постоянно переодеваются. Иной раз так маски надевают, бороды и усы приклеивают. До крещения всякий вечер в деревне пляшут где-ниб[удь] и игрище.

Но уже лампа тухнет, вышел весь керосин, и второй уже час. А. И. спит уже, пора и мне ложиться. Вы уж, может быть и должно быть, спите, а потому спокойной ночи, и так уж расписался, не зевайте только, читая.

Почта завтра пойдет, завтра окончу.

*2/II**

Окончил я уже свою часть работ, а потому могу писать дальше, хотя поздно я сегодня положился — да что-то долго не спалось, а может быть, дремал. Мне показалось, под впечатлением ли того, что писал Вам долго, что я у Вас, что я Вам говорил о жизни здешней и, наконец, мы заспорили. Читал я этими днями о рынках Булгакова. В предисловии он цитирует слова Маркса, что благодаря пониманию законов развития нельзя перешагнуть естественное развитие и можно только «сократить и облегчить мучения родов». Я доказывал, что это последнее есть идеализация, что это во многом прямо противоречит всему материалистическому пониманию им истории. Вы же защищали его и говорили мне, что я, желая выставить себя оригинальным и из-за жажды спорить, иначе понимаю его слова, что не должен я стараться везде иметь свое самостоятельное мнение вразрез с мнениями других. Конечно, в этих мыслях есть много правды, и конечно думал и я сам об этом раньше. Дей-

* Судя по содержанию письма, оно ошибочно датировано Ф. Э. Дзержинским 2 февраля 1899 г.

ствительно, прочел я, знаете, Милля – утилитаризм, садясь за него... (приходится идти мясо смотреть, мужик пришел. А. И. занят, чтоб им пусто было, вечно мешают).

Значит, и я прочел эту книгу, но теперь не решаюсь, да и не стоит говорить о ней. Читал я ее с тайным желанием раскритиковать ее, делал заметки даже. Боюсь, что вследствие этого желания моя критика доходит до смешного. Оставлю потому пока и еще раз обдумаю, а потом напишу свой взгляд на эту книгу и вообще свой взгляд на данный вопрос. Смешным может то показаться, что я сам как будто отказался от прежнего своего взгляда на роль пользы в нравственности людей, и это возникло из того, что не желал я согласиться с Миллем. Но об этом после. Вообще читал теперь я урывком, хотя читал, думая и вдумываясь, а знаете ли почему? Потому что желал Вам писать о прочитанном. Для меня самолюбие играет очень важную роль, хотя Вы не хотите этому верить, однако так есть. Учусь еще по-немецки. Каждый день часа 1½–2 сижу над этим языком. Читаю Фауста, хотя не могу как следует понять его. Видно, надо знать историческую эпоху, из которой взят сюжет. Думаю прочесть Ми-

хайловского теперь о счастье, чтобы составить полный взгляд на утилитаризм. О рынках Бул[гакова] – трудная довольно вещь, и приходится много думать. Тем более что он основывается на II т[оме] Маркса, который у меня хотя и лежит, да еще не раскрывал.

Вижу, однако, что занятия пойдут успешно. И когда встретимся, может, найдете во мне новые мысли и интереснее меня. Я здесь научусь думать.

Но я расписался слишком много и сказал, кажется, слишком мало.

Письма наши не стали просматривать, пристава мы убедили, что это беззаконно, и в случае, если будут распечатывать, не предъявляя нам циркуляра министра, мы подадим жалобу в суд. Пристав распорядился, чтобы наши письма здесь не задерживали. Но здешний писарь – пьяница 1-го сорта. Такой же и старшина безголовый – не хотел принимать наших писем. Надо было выручаться и идти за урядником. Должен теперь принимать, да жулик послал, кажется, запрос к исправнику – хотя это все равно – раз он не будет принимать писем, не имея циркуляра, – по закону будут отвечать, а мы так не спустим и подадим в суд за превы-

шение власти. Как послать, найдем способ. Тут они везде по деревням пересматривают письма — должно быть, губернатор постарается и об этой милости выхлопотать.

Посылаю заказным, чтобы теперь не имел возможности не послать. Хотя к А. И. уже пришло из Вятки письмо простое. Сегодня я надеялся, что от Вас получу — да нет, как видно, не успело еще дойти это письмо, уже считая открытку.

Со здешним обществом — пристнократией — попами (письмо передал, но не прямо в руки, а через здешнего священника), доктором и фельдшером — познакомились тоже. Хотя стоило это удовольствие нам полтинник. Пригласили нас на квартиру на платный вечер в пользу общества трезвости (есть и это у нас). А. И. не был — угорел немного в здешней черной бане (ужас, какая это баня). Я пошел да ненадолго. Вечер начался речью витиеватою самого доктора на тему скуки здешней и устранения ее каким-н[ибудь] возвышенным занятием только при содействии здешней интеллигенции. Публику составляли крестьянские девушки и парни, призванные для потехи барской. Окончив речь (читанную), раскланялся перед этой публикой —

все как следует. Затем читали пару стихов фельдшерица и жена доктора — тоже с поклонами. Как-то глупо, неловко было, и злость брала на эту комедию. Читали Надсона «Друг мой усталый от...». Нашли где и перед кем. Не мог я этого слушать. В 2 минуты все это было уже кончено, а потом в подтверждение всего сказанного взялись за пары и пляску, а дамы все покукивали здешних — спляшите то то, то се, не стыдитесь нас, спойте-ка, не хотите ли орешков. Веселятся люди от скуки и жира и ничегонеделания.

Рассмешил меня доктор. Фельдшер опоздал на открытие вечера. Доктор его так встретил: «Иван Иванович, а на самое-то интересное опоздали». «А что такое?». «У нас было чтение», — с самодовольной улыбкой отвечает доктор. Таким, таким искренним тоном было это сказано, что видно было, что не врет, а говорит свое мнение. И есть же такие люди, которых даже такие миражи могут удовлетворить и доставить удовольствие. Приходится надувать самих себя и жить воображением, и наконец это воображение становится вполне достаточным и ничего иного уже не хочется. Мираж совсем

уж заменяет действительность, и тем больше за него держатся, что он не обожжет и имеет сходство внешнее с огнем.

А. И. также уже покончил со своей работой. Сел за Париж. Не очень ему нравится Золя за то, что, «будучи стариком, смотрит глазами молодого», как он выражается. Вообще ему нравится направление идеалистическое, реальное же злит его и возмущает. Весной А. И. думает, если разрешат, поехать вниз по Каме с гонкам. Вряд ли только пустят. Можно было бы заработать, хотя нелегкая работа эта.

Но довольно уж будет на этот раз, надо что-н[ибудь] оставить и для следующих писем. Пишите только. О, как радостно будет первое письмо Ваше получить. Жду с нетерпением. Прошу только об одном – не сомневаться – право, нам можно и теперь недурно пожить, а потом, при деле, работать еще лучше. Как припоминаю я тот вечер, когда мы гуляли у собора. Жутко становится. И зачем жизнь себе отравлять. Я тогда не знал и не понимал ни Вас, ни себя – и какой я грубый был тогда, теперь же кажется уж не надо, чтобы повторялось и не будет это повторяться. Сил у нас много, а чувств – да зачем то взве-

шивать, пусть живется так, как живется, пусть чувствуется так, как чувствуется. Надувать друг друга никогда не станем. Не правда ли? А себя понимать отлично можно. Не горюйте поэтому и слишком не тоскуйте. Да и чтобы можно было хоть на минуту прилететь мне к Вам и посмотреть, как Вы себя чувствуете.

Ваш Феликс.

3
Село Кайгородское. 10 января 1899 г.

10/I. 99

Вчера сюда приходила почта, я так надеялся, что получу от Вас письмо, не получил. Ведь прошло уже около трех недель. Но я, если ведь виноват, что не писал из Слоб[одского]. Вы обещали мне написать, получив уже мое. Я отправил отсюда первое 28 декабря. В Слобод[ское] оно пришло 2 января, а к Вам около 5. Завтра непременно оно должно быть. Так хочется знать, что с Вами слышно, как чувствуете себя, успешно ли идут занятия. Одним словом, как Вам живется и не жалеете ли тех немногих последних дней, которые мы вместе провели? Думаете ли о осуществлении того плана? Дурак я, зачем это спрашиваю, я не знаю, хорошо ли это или дурно, но мне кажется, что хотя мы так мало жили с собой, однако бросить все, порвать ни Вы, ни я не в состоянии будем. Вы когда-то говорили, что боитесь с моей сто-

роны только увлечения — нет, этого быть не может. В таком случае я совсем бы с Вами порвал. Победа над собой могла бы тогда только в этом выразиться. Я действительно увлекся, но не только. Кроме этого, мне нравилось в Вас очень много идейного. Я вас глубоко уважал — и хотя узнал Вас хорошенько, однако еще более стал уважать, что со мной никогда не случалось. Я обыкновенно при первом знакомстве с женщинами робел, при более же близком был грубым и терял всякое уважение. Теперь же случилось иначе. Ведь нельзя это назвать увлечением. Но бог с этим. Прочь с сентиментальностями, итак уж слишком много об этом поневоле думается, а это бесполезно. Пусть будет так, как есть. Тут думать незачем. И без слов мы теперь можем понять и себя, и друг друга. Лучше перейду к тому, что мы здесь делаем и какие здешние обычаи.

Встретили мы сегодня похороны — сразу четырех хоронили. Везли их на худеньких лошадках и в санях. На гробах сидели мужики и везли из церкви покойников. Сзади их ехали на других санях провожатые родные. Попа не было — встретили мы его катающимся с дьяконом. Народу было совсем мало и

не получалось впечатления, что это везут люди своих матерей, родных хоронить – сделать для них последнюю услугу. Мы провожали их. Ямы не были еще вырыты, земля замерзла почти на 2 аршина. Поднялась ругань, что не приготовили работники вовремя. Не было ни слез, ни жалоб на жизнь свою. Воспользовавшись минутою, мы спросили о причине, что попа нет. «Да где нам,– отвечали они,– заплатить нам до 10 р.» И действительно, поп здешний совсем разоряет народ. За свадьбу берет не меньше 15 р., еще зап[рашивает] холст, водку, табаку, крендели; за отпевание 2–5 р., за крестины 1 р. Дерет, одним словом, неимоверно. Жаловались не раз на него, да ничего не выходит. Стал еще больше драть. Никто, абсолютно никто не уважает здешнего попа – пьяница прегорький, деньги всегда берет.

Наконец опустили гроб, стали засыпать землей, никто и теперь не заплакал, не застонал или заохал, а у нас обыкновенно ведь чуть не в истерики падают наши чувствообильные люди, когда засыпают землей. Нет здесь того пошлого притворства казаться лучше и чувствительнее, без которого у нас и шагу не ступить. Притворство у нас вошло

в плоть и кровь, и как иногда тяжко бывает отряхнуться от того, что приобретено в этой среде.

Я страшно завидую Вашей демократической обстановке в детстве. Она дает правоту. Сколько же мне пришлось потратить энергии на то, чтобы избавиться от этого. Отнесясь отрицательно к своей былой обстановке, приобретши новую, я должен был непременно и сам изменить себя, я должен был отнестись отрицательно и к тому, что я приобрел от нее. Я заметил уже давно в себе это притворство. Я не умел разбираться в том, что правдиво, а что только форма, ведь для этого надо иметь очень тонкое чутье и большее понимание себя.

Мне пришлось всякое проявление чувства и форму откинуть, мне надо было все, что мне казалось святым и нерасторгаемым, порвать. Но при этой ломке пострадала не только форма, но и содержание ее. Я не мог разобраться, какая из них имеет что-ниб[удь], кроме воображаемого, измышленного, а какая их них только форма. Будучи в сущности эгоистом, я и подыскивал теорию бессознательно, которая бы оправдала меня. Я сделался крайним — отрицающим все чисто

идейное. Так шло, пока не почувствовал, что и я человек – однако этот период отрицания, он очень много сделал и дал мне: во-1), он не лишил меня чувства, во-2), он сделал меня на вид холодным, и в-3), заставил жизнь, борьбу поставить выше чувства не только теоретически, но и психически, – буря меня влечет больше, чем тишина, а ведь всякое чувство из бурного переходит в спокойное, а жизнь – никогда.

Но я отвлекся: самого главного о здешних похоронах я и не сказал.

Зарывши могилу, все уселись на ней (некоторые, конечно, за недостатком места около нее) и начали поминать умерших. Здешний напиток вместо пива – брага – варят из ржи (ею у нас, кажется, скотину откармливают). Это брага хмельная, и брали угощения, прикусывая блинами да рыбой. Должно быть, еще от язычества сохранился этот обычай. Звали всех, кто там был, да мы отказались. Кроме Абрашки, который брагу уже привык здесь пить, и когда бывало напьется до пьяна водки, говорить всегда, что это брагу он пил. Представьте себе, что бросил пить он. Может быть, потому, что пить не на что, но, может быть, и дей-

ствительно бросил. Хотя трудно надеяться, что это надолго.

Ходили мы вместе с ним в лес на охоту — до сих пор еще не только что не убили, да и почти ничего не видели. Еврейская натура все ж таки проявляется в нем. Трусит волков и медведей, которых, кстати сказать, некоторые, а даже иногда из здешних, во всю жизнь свою не видывали, а нам говорили, что здесь их пропасть. А мы от нечего делать потешались над ним, выдумывая, что волки идут или что будем стрелять, видимо, медведя. Он почти весь день сидит у нас, для него, конечно, это лучше, меньше искушений, а то его или в кабак зовут, или же наговаривают креститься, обещают денег заплатить, но он ставит условием, чтобы прямо в попы произвели, чтобы обирать их. Смешной он довольно. Спрашивают его, напр[имер], за что его сюда отправили, а он говорит, что за «блины без бандероли». А мужики давай же думать, что это за штука. Глупый порядочно народ. Более зажиточные ханжи приходят к нам и давай говорить, что православная вера единственно верна, да православные что-то не стараются, что вера падает, что «не поступаем мы по Евангелью, ох, народ мы тем-

ный, грехи наши тяжкие!». Надоели порядочно этим причитанием. Дали мы им раз острастку жалобиться перед нами. Зазывают нас всюду, да с визитами ни у кого еще не были. Однако надо будет походить, присмотреться поближе, как живут. Думаем ходить на сходы и суды. В бытовом отношении много интересного, что может дать.

Как видно, жизнь здешних крестьян довольно-таки тяжелая, хотя недоимок нет, кажется. Заработки тут очень скудные. В лесу только пилить, рубить да возить дрова лесопромышленникам. Порядочно они здесь уже перевели леса. Да с лошадью вдвоем не заработать во всю зиму больше 20 рубл. на своем хлебе. Да и опасная это работа при полной бесцеремонности и беспечности лесопромышленников. Есть тут дорога одного купца в лес, упаси боже, по ней ездить. На ней есть очень крутая гора, и редко, редко какой воз не перевернется здесь. Людей прибивает до полусмерти. Вот одного мы знаем, мается теперь с головой страшно. Свалился воз на этой горе, он его поддерживал. Пришибло так его в голову, что долго без чувств пролежал, а теперь постоянно, как только ложится, голова болит и получает что-то вроде

помешательства. Все кругом идет, не понимает, где он, все кажется, что кто-то устраивает из его головы наковальню. И купцу все это безнаказанно проходит. Обсчитывает народ на всякий лад. То привезут или спилят брак – не платит, то другим каким-н[ибудь] способом обворует. Горемычная поистине здесь жизнь местных полупролетариев. А купцы здесь наживают денежки. За все берут втридорога, а рабочим платят гроши. Не знаю, как это народники могут увлекаться отсутствием капитализма, когда вследствие его нет беднейшим исхода из своего тяжелого положения. Действительно, присмотевшись к жизни, как она есть, можно порядком на них негодовать, что философствуют и только философствуют (потому что и нельзя тут чем-н[нибудь] помочь) там, где надо дела. Практически, раз не могут они иметь поля, уже одно это достаточно для того, чтобы отвернуться от них и пойти в другую сторону. Жизнь деревенская, да что она такое? Жизнь темная, постоянные хлопоты, жизнь не одинаковая для всех, жизнь глуши, жизнь постепенного обеднения большой части и закабаливания себя кулаком, жизнь перенаселения, жизнь отчасти недо-

имок и платы неимоверной за требы. Что в ней можно сделать, что ей можно дать, чтобы поддержать более симпатичную часть? Ничего или почти-что ничего! Дать образование, но оно ведь ведет к еще большему разделению на богат[ых] и бедных; более образов[анный] на деревне, не будучи исключением, может более выдвинуться, более быть обеспеченным в борьбе за существование, т. е. сделаться должен будет волей-неволей эксплуататором. Спропагандировать же на устройство артелей на основах, не допускающих ничьей эксплуатации и дифференциации, нет физической возможности. Здесь и инструменты-то употребляют еще первобытные. Напр[имер], вместо кос какие-то косули, коротенькие сохи вместо плугов, и как земство не берется, ничего поделать скоро нельзя, а все вводится понемногу, а что будет, когда всюду введется? Есть польская пословица: «Пока солнце взойдет, роса глаза выест». Так и тут, напр[имер], взять бани здешние. Черные. Грязные, нет где раздеться, низенькие, жалеют дров, а дрова за бесценок под рукой, да и свои есть. И как им не толкуют, усмехаются и только: «белоручкам, думают, не нравится». В таких банях ревма-

тизм можно схватить, а простудиться того легче, да и вымыться порядком нельзя, а они говорят, что для них и так хорошо, что деды их так мылись. В избах у них по большей части тоже грязно. Посуду редко моют, кушанье прямо гадко. Некоторые бабы, напр[имер], носили нам молоко в горшках, где каша была, его и не мыли. И это уж несколько раз было. Особенно некоторые бабы здесь противны. Например, наша хозяйка.

А село здесь немалое, будет до 100 дворов. Лежит в яме так, что, подъехавши только вплоть, становится видным. Лес тянется с двух сторон версты 2 от села. Лес большой, особенно подальше, как хорошо шляться по нему, зимой только по дороге. Вырубили только лучшие деревья. Кругом же Кая все болота. Теперь это ничего, но летом (с конца мая до половины июля) масса комаров, прямо миллиарды; как говорят, придется маяться порядочно, чтобы привыкнуть к ним, надо будет ходит в сетках. Зато весной, говорят, охотиться можно будет на уток, лебедей, хотя последних по суеверию здесь не стреляют. Полагают, что кто-н[ибудь] подохнет или помрет в семье и хозяйстве того, кто убил. Но может быть окажется то же, что

и с медведями и волками, а все ж таки жаль, не придется испытать сильных ощущений. Мы теперь ходим по окрестностям в соседние деревни за маслом, мукой, там все дешевле немного.

Вот, кажется, и все о здешней внешней жизни. Публику интеллигентную здешнюю не знаем еще, и нет охоты знать, да придется. Во всяком случае может знакомство и пригодиться на что-ниб[удь], и так уж, должно быть, косо смотрят, что не пошли до сих пор.

Но на сегодня хватит, завтра, должно быть, не отправлю, а в пятницу, напишу еще о своих занятиях. С завтрашнего дня думаю заняться как следует: распределю себе занятия дня и постараюсь не отступать, тем более, что охоты читать есть достаточно, а отказаться идти на охоту или прогулку есть благовидный предлог, что нога болит (почти все прошло). А без распределения невозможно. Надо необходимо систему, если не в книгах, то во времени, иначе думать не научусь. Думаю писать что-ниб[удь] вроде дневника с теми задачами, о котор[ых] Вы знаете, но это еще неизвестно, не знаю, стоит ли? Как вы думаете? Хочу научиться писать; чтобы

что-н[ибудь] научное – трудно, так как книг нет, хотя постараюсь, положим, не научное, а серьезное что-н[ибудь] выставить, развить, напр[имер], свой взгляд на нравствен[ность], роль личности, интеллигенция, знания, науки, одним словом, на такие темы, в которых почти всех есть точка зрения. Однако все это еще планы, и как подумаю себе, сколько их перебывало в моей голове и как мало было приведено в исполнение, берет сомнение, все-таки сделаю все, на что хватит сил, а тем более, что хандра безотчетная, болезненная, из которой исхода и успокоения нет, не посещала меня до сих пор.

Но пора спать, уже скоро час, а завтра рано вставать, надо самовар поставить, посуду чайную вымыть.

Можете ли свободно читать без увеличительного стекла мои письма? Если затруднительно, то пишите, буду яснее писать. Не люблю только, когда много листов исписано, да и экономия мала, по крайней мере, когда станут упрекать, что писал и ничто не написал, то будут отговорки, что только один лист.

Пришлите скорей свою карточку. Только заверните ее хорошенько, а то штемпель

будет [о]значен. Что у Вас с средами, и Димка как поживает?

До скорого.

В[ас] Л[юбящий] Ф[еликс].

Сегодня, т. е. 15/I. 99 получил ответ от губернатора, что назначение местожительства всецело зависит от губернского начальства. Будем делать, что думал*.

* Приписка сделана в начале письма от 10.01.1899 г.

4
Село Кайгородское.
11–13 января 1899 г.

Наконец-то дождался Вашего письма. Милая моя, как Вы дороги и добры для меня. Сколько радости, бодрости и силы принесло оно с собой для меня. И мы так коротко жили с собой. И Вам теперь хорошо, и мне. Почему же мы не вместе? Как мне хотелось бы Вас увидеть, приголубить. Читаю и перечитываю Ваше первое, столь радостное письмо, и кажется, что вот, вот Вас вижу. Вижу и чувствую, сколько Вы через это время перечувствовали. Вижу Ваше задумчивое, грустное лицо. Но теперь уже это прошло — Вам хорошо ведь теперь, сомнений нет и не может быть никаких. Настоящее, что мы в разлуке, каждый живет в одиночку, далеко друг от друга. О нет, мы близко. Мне кажется, что часть души Вашей ко мне перешла, я чувствую себя бодрым, мне кажется, что я лучшим становлюсь от этой частицы. Мы

живем теперь и будем жить одной душой. И будущее наше – борьба. Вы более всего цените и любите во мне преданность делу. Дело и преданность ему не может не увлечь неиспорченного, чуткого и жизненного человека! Мы пойдем рука в руку в эту борьбу, и действительно личные чувства наши сольются с общественными, и не только сольются, но и сливаются уже, а что находится вне этого из личного чувства, т. е. *чисто* личная симпатия, привязанность, любовь, то ведь она, связывая нас еще крепче, увеличивает напряженность нашего общ[ественного] чувства, что же может мешать – то бороться с этим хватит нам сил, я в этом уверен свято, даже в ссылке при совместной жизни – мы несколько месяцев возьмем себя *поодиночке* в ежовые рукавицы и заставим заниматься, заниматься и заниматься, чтобы и потом *вместе* иметь силы продолжать эти занятия. Мы должны теперь набрать сил, привычку и необходимость заниматься. Я уверен, что мы этого достигнем – в ином случае, если нам не быть вместе и не видеться даже в ссылке, я не выдержу борьбы. Нет, этому не быть никогда. Сумею, сумею и сумею, наверно, втянуться в занятия. Ведь бу-

дем вместе заниматься, будем друг друга поддерживать, хотя столько верст нас разделяет, а потом, набравши сил, мы снова вместе будем, увидимся. О, как я жду того дня. Я непременно встречу Вас или в Слободском, или по пути к Каю. Как нам будет хорошо и радостно. Сколько свежести Вы внесете в жизнь мою. Как нам будет хорошо ехать лесом, лесом и лесом. Тут, в Кае, такие хорошие места, как бы они Вам понравились.

Получив 12/I Ваше письмо, я не мог дома сидеть – я гулял, гулял и гулял по лесам и полям. Вечер был прекрасный, луна светила, мелкие прозрачные тучки набегали, перегоняли друг друга, то закрывая собой луну, то снова открывая ее. Я был в лесу. Тихо было, ель совсем не шумела – только по временам из какой-то деревушки доносился лай собак. Я смотрел на луну, и казалось мне, я как-то уверен даже был, что и Вы на нее смотрите, увидел Ваше спокойное, радостное, не затуманенное уж никакими сомнениями [лицо]. Дорогая, думали ли Вы тогда, верно ли было мое убеждение? Я думал тогда о том, как мы устроимся потом в жизни, не будучи уже трупами общественными, и знаете почему я сказал, что чувства лич[ные] и общ[ественные]

уже сливаются? Думая о будущей работе, я не вижу себя одиноким, но вместе с Вами. Через труд и в труде мы снова соединимся, а если потом, будучи выброшенными снова из той жизни, для минуты которой стоит и годы промучиться, судьба нас захочет разделить, то мы сумеем ее превозмочь, и тогда будем иметь полное право на это.

Нет, будущность теперь для меня ясна, светла, и верю, я убежден и имею на это основания, что как Вы, так и я будем работать, выдержим эти несколько месяцев испытание и укрепление своих сил, будем потом совместно работать, что работа эта нас окончательно соединит и будет нам во сто крат лучше, чем если бы мы не встретились и не полюбили друг друга. Одно только, еще раз я, кажется, писал Вам об этом,— не идеализируйте меня. Право, письмо Ваше меня хотя и обрадовало, так сильно, что слов не найду высказать, однако и огорчило. Вы пишете: «...если окажетесь таким, каким хочу Вас видеть и каким Вы можете быть». Я боюсь, что далеко не окажусь, и мне кажется, что Вы, хотя подметили во мне очень несимпатичные черты, однако стараетесь не думать об этом и полагаете, что я клевещу на себя.

Мне страшно, когда подумаю, что Вы ошибаетесь, что придется Вам разочароваться. Ведь как тяжко, невыносимо, смертельно тяжко будет тогда и Вам, и мне. Никогда, прошу Вас ради всего, не старайтесь и противьтесь инстинктивному желанию идеализировать меня и писать мне о том, каким Вы меня считаете, если Вы хорошего о мне мнения. Вы браните меня, а не хвалите. Никогда не пишите похвал. Я буду стараться быть лучше, серьезнее, самостоятельнее, умнее во сто раз больше, если меня бранить, меня ведь испортили тем, что всегда почти вообще хвалили. Я чувствовал тогда несоответствие между мною действительным и мною кажущимся, и это мне много сил отымало, и я чувствовал не подъем, а упадок сил. Не пишите поэтому никогда, никогда не делайте никаких заключений о мне, не узнавши меня хорошенько. Ведь подумайте себе только, что может выйти, если Вы ошибетесь. Разбирать себя я не буду, и Вы не хотите, да и не стоит, но Вы должны верить мне хоть в том, что я еще далек от такого, каким Вы меня представляете. Не пишите мне об этом ничего, верите или не верите мне. Я должен был это написать и написал, а Вы должны об

этом серьезно подумать. Ведь Вы меня из слов только знаете, с внешней стороны; человек же проявляется в жизни, его можно узнать из того, как он к людям и известным явлениям относится, а Вы меня так мало с этой стороны знаете. Но об этом последний раз. Подметивши только дурную сторону во мне, пишите, а больше этого не стоит да и не надо затрагивать, хотя думать много об этом надо — постепенно из писем мы должны себя узнать и не говоря об этом непосредственно.

Завтра отправляю это письмо. Спешу — пора кончить. Что-то устал, бессонница мучит. Однако часов 6–7 сплю, хотя довольно беспокойно. Но это пройдет скоро, войти в занятие как следует надо, чтобы утомиться. В общем чувствую и физически себя хорошо. После Вашего письма я вечером гулял, луна светила. Она падала на мою постель, хотя головой был обращен к окну, однако под впечатлением должно быть прогулки и мысли, что Вы смотрели тоже на луну, я все просыпался и оборачивал голову, чтобы посмотреть на нее, все казалось, что Вы где-то близко и я должен Вас увидеть. Как я однако раньше не понимал людей и их чувств; если бы

мне раньше кто-ниб[удь] сказал о подобном случае, я, наверное, подтрунил бы и назвал бы сентиментальною. Вы согласитесь со мной, но я этого не жалею ничуть и никогда не променял бы теперешнего состояния с прежним, когда меня так мучила пустота.

Занятия свои я распределил так: от 8 ч[асов] у[тра] до 10 – чай, уборка (по хозяйству), 10–12 – немецкий яз[ык], 12–2 ч. – экономич[еские] книги, 2–5 – обед, прогулка, 5–7 – публицист[ика] и легкое чтение; 7–9 – чай, 9–12 – писать и серьезные книги. Воскресенье отдых и визиты. Как Вам нравится этот план? Прочел я до сих пор Милля, Михайловского о счастье, Прудон, как идеолог мелк[ой] бурж[уазии] (из «Науч[ного] обозр[ения]»); читаю Евангелье – это очень может в будущн[ости] пригодится. Начал снова Волгина, прочел Фауста (хотя не понял), доканчиваю тяжелую, требующую много большого умствен[ного] напряжения [работу] о рынках Булгакова, т. е. надо учиться прямо. Начал Маркса 3-й том «Капитала».

Вот прочтите мою критику Милля. Должно быть, много в ней смешного найдете, вызванного исключительно желанием поспорить. Воедино собрать, однако, все в систе-

му я не сумел, да и, признаться, не пробовал. Напишите непременно все, что будете думать, читая это, и не бойтесь осмешить меня. Вы спрашиваете, как я решаю различные теоретические вопросы. Признаться, кажется, никогда они меня не волновали, и, решая их спокойно и скоро, вдумывался мало. И умственная моя работа требует общества, в обществ[енном] споре она лучше работает, чем в одиночку. Эта-та причина в сущности мешает мне заняться порядком. Голова моя требует в известной мере искусственного возбуждения.

11/I. 99

Милль уже прочитан мною. Утилитаризм. Я надеялся, есть теория, задачей которой есть объяснение, почему люди придерживались и придерживаются всевозможных нравственных понятий, почему и как эти понятия видоизменяются. Думаю найти объяснение объективных причин этих видоизменений, как они отражаются на субъектах. Теория о нравственности не нуждается, да и не должна быть догматической, т. е. выставляющей известные нравственные понятия за верные, а другие за ошибочные.

Я думал, что «польза» ихняя есть для них понятием строго определенным, раз на нем все обосновано (хотя эта определенность не исключает совсем исторической изменчивости понятия «пользы») – равно как и выставлена разница между полезностью и нравственностью. Я ждал определения этой последней. Я думал найти в этой теории весь механизм нравственной эволюции. Я думал, что эволюционизм будет выставлен на план первый, что в этой теории доказательства фактические, а не только философствование на тему счастья. Что в буржуазном духе написана, в этом можно было надеется. Уже это не могло позволить М[иллю] верно изобразить ход нравствен[ных] понятий, так как классовая борьба должна была уже a priori, можно сказать, оказать громадное влияние. Я думал, что больше будет рассматриваться содержание нрав[ственных] понятий человеч[еских] отношений, чем их форма. Теория, выставляющая обществе[нную] пользу принципом нрав[ственности], есть часть социальной, а потому, чтобы что-н[ибудь] сказать определенного об этой пользе, необходимо рассмотреть и условия всего обществ[енного] развития. Причины

этого последнего должны быть и причинами нравственного развития. Уже одно то, что пользу он отождествляет с величайшим счастьем, показывает, что он субъективен, и уже наперед можно знать, что не удастся ему его предприятие. Пользу еще можно объективно определить, выделивши, напр[имер], материальные блага, а счастье — это понятие чисто субъективное. Под него можно и подводят все, что угодно. Книга вообще эта производит впечатление только того, что Милль показал, что утилитарные — порядочные люди и что лучше быть «недовольным человеком, чем довольною свиньей». Но стоит рассмотреть эту книгу вкратце, по параграфам, чтобы увидеть, действительно ли так?

Глава I.

Слово «извращались» нр[авственное] понятие (стр. 8) вследствие отсутствия ясно сознанного, верховного принципа (пользы), указывает на нелогичность, непоследовательность и догматич[ность]. Ведь нр[авственные] пон[ятия] определяются этим принципом, хотя и помимо сознания людей (стр. 9), а поэтому всякое «извращение» (тут и исключений быть не мо-

жет) указывает на несостоятельность этого принципа.

Стр. 9. Здесь он указывает, что принцип пользы «санкционировал проявившиеся уже чувства» и что вообще влиял на нравств[енные] понятия людей. Что польза вообще влияла на нр[авственные] пон[ятия]. Это не требует доказательств, следовало бы доказать, что она *определяет* их помимо сознания. Слово же «санкционировать» совсем неудачно (вообще у М[илля] масса туманных слов), носит богословский характер. Может показаться, что принцип этот что-то вроде Гегелевской абсолютной идеи, витающей где-то в облаках вне обществ[енного] развития и людей.

Глава II. Что такое утилитаризм.

«Полезное» — приятное и прекрасное — «удовольствие», стр.15.

Стр.17. «Полезность — принцип величайшего счастья. Счастье = + удовольствие и — страдание...», от определения страдания неудовольствие отклоняется. В этом определении и полезного и счастья уже заключается невозможность дать научное значение новой теории. Ведь удовольствия и страдания бывают самие противоречивые и раз-

нообразные в гораздо большей степени, чем нравств[енные] понятия. При постоянстве, в данном месте, времени и классе этих последних – первые, однако, очень разнообразны и противоречивы. Основывать все на удовольствии и страдании слишком обще и абстрактно, ничего поэтому определенного и конкретного тут вывести нельзя. Конечно, поэтому М[иллю] не удалось это, и он поэтому делает «сальто-мортале» и все ж таки удовольствие понимает в своем роде. Он, как догматик, выставляет его как стремление к *обществ*[енному] *счастью*. Начинает М[илль] уже совсем не с того, с чего следовало бы – надо было выставить, что нравственные понятия есть продукт общества, и пользу выставить общества и классов, а не об удовольствии говорить и не защищаться, как догматику, как выставляющему известные нравств[енные] понятия. Задачей науки о нравственности может быть только объяснение догматика, и только. Если удовольствие ставить в основу всего и отождествлять с пользой, в таком случае, конечно, задача сама – что определяет нравств[енность] – исчезает, но в таком случае она не должна иметь претензии объяснить конкретные явления. Дей-

ствительно, ведь под удовольствие можно подвести все, что угодно, все нравств[енные] и безнравственные поступки. Положим кто-н[ибудь] жертвует для другого своей жизнью. Почему? Потому что это составляло ему удовольствие, и этим вопрос закрывался. А если человек убьет другого тоже ради удовольствия, то каким правом М[илль] может назвать это безнрав[ственным], раз удовольствие лежит в основе всего и раз он отказывается определить, какого рода удовольствие определяет счастье. Считать поэтому одно за нрав[ственное], другое за без[нравстенное] он может только как догматик.

[Стр.] 19–23. Пояснение превосходства умствен[ных] возвышенных наслажд[ений] перед чувствен[ным] вполне рационально. Человек не может отказаться от этих чувств и потребностей, которые он приобрел, как бы то ни было. Но суть не в том, чтобы объяснить, что человек поступает согласно со своими чувствами и потребностями, а в том, чтобы доказать, что чувства и потребности людей определяются пользой (общ[ественной], классовой или личной). Польза объясняется здесь чувством, кото-

рое ведет к недовольству (нед[овольство] чел[овека] и дов[ольство]). Довольствие он отличает от счастья прямо до противоположения, что не рационально. А делает он это потому, что приравнял пользу и счастье и не дал тому и другому конкретного определения.

[Стр.] 27. «Утилитаризм» ставит целью для человека не его личное счастье, а обществ[енное] — «Все от этого в выигрыше». Припоминается мне Бельток, что он говорит о артишоках, что ли, С.-Симона. Не догматик ли он?

[Стр.] 28–29. Его определение нравственности: «Такие правила... имеет чувство». Вот так научное определение. Слишком догматично, абстрактно и неверно фактически данное определение. Это ясно.

[Стр.] 37. Против того, что человек может и должен жить без счастья, возражение М[илля] неудачно. М[илль] основывается на убеждении личности (героя, мученика), а не объясняет социологически, почему данные явления замечаются. М[илль] говорит, что аскет, что стоял на столбу, показывает, что можно сделать, а что не должно? Ведь мученики и аскеты думали, что должны

были идти на мучения ради идеи какой-н[ибудь], а не пользы – и должны были так думать. Тут личное убеждение в полезности добра ни при чем. М[илль] на нем же основывается и вопреки фактичности заявляет, что без пользы не должно было быть аскетом (хочется ему попом быть, свой катехизис пишет), не понимая, что данный факт вполне объясняется обществен[ными] и историческими условиями. Они заставляют так или иначе поступать, тех или иных придерживаться взглядов и очень часто бывает, что люди и общество благодаря им идут волне сознательно даже к погибели, а не счастью. Взять довольно частые в истории примеры самоистребления язычников вследствие нежелания христианского гнета. Все пользой и только пользой объяснить никак нельзя.

Против положения, что человек должен жить без счастья, М[илль] мог ответить только, что он ученый, а не поп.

[Стр.] 38–41. Субъективизм, нелогичность, догматизм.

[Стр.] 39. «Только то самоотвержение *одобряет* она, которое имеет целью счастье других...». М[илль] не объясняет, а одобря-

ет. Одобряя одно, а не признавая, значит, другого, этим самым он указывает на свою несостоятельность объяснить нравств[енные] понятия людей. Он этим говорит, что суть такие нравств[енные] понятия, которые он не одобряет, т. е. не удовлетворяют принципу пользы, а следоват[ельно], принцип этот не может иметь претензии объяснить нравств[енные] явления вообще в совокупности, т. е. теория эта не имеет характера всеобщности, а потому не может быть названа научной.

[Стр.] 41–44. Правила действий и мотивы действия неясно определены и разделены. Тут хочется залатать дыру. Не показывает фактической связи между личной и обществен[ной] пользой.

[Стр.] 44–45. Догматизм. Слово «должен» всюду. Человек по М[иллю] обязан приносить частную или общ[ественную] пользу, и что «его обязывают к этому требования общего блага», т. е. основывается на том, что следовало бы доказать.

[Стр.] 45–60. Слишком много дано места на полемику. Носит она характер несколько догматич[еский], хотя есть и дельные возражения.

Глава III. О верховной санкции принципа пользы.

[Стр.] 64–65. О внешних санкциях принципа пользы: надежда на милость, страх перед людьми и Богом, симпатия и привязан[ность] к ближним. Любовь и благоговение к Богу – все это побуждает людей следовать требованиям утилит[арного] принц[ипа] счастья, пользы.

Во-1), симпатия, любовь, привязанность суть явления нравств[енного] порядка, ими поэтому пользоваться нельзя, они сами требуют объяснения с точки зрения принципа пользы. Санкциями для себя служить не могут. А что М[илль] говорит, что никакая нравств[еность] не стремится к несчастью, а только к счастью, то это пустословие(?), ничего не показывающее. Конечно, каждый стремится быть по-своему счастливым, но разве тут есть что-н[ибудь] общего с принципом пользы общей, с тем, что нрав[ственные] пон[ятия] вытекают из этого принципа. Во-2), слишком мало места посвящается этим внешним, самым главным в сущности побуждениям. Они именно определяют нравств[енность]. Конечно, в том только случае, если под внешними санкциями разуметь не-

много иное, чем М[илль], а именно все то, что находится вне человека, вне субъекта, но внутри общества: напр[имер], человеч[еские] отношения, определяемые развитием производительных сил данного общества.

[Стр.] 65–67. Что внутрен[ней] санкцией есть чувство долга, совесть – это, по-моему, верно.

[Стр.] 67–68. Весьма верное положение «Во всех случаях принуд[ительная] сила нравствен[ной] обязанности заключается в его собственном субъективном чувстве и изменяется исключительно силою этого чувства».

[Стр.] 69–70. Чувство долга врожденное ли или приобретенное? По М[иллю], каков бы ни был ответ на этот вопрос, несомненно, что содержание этого чувства определяется утилит[арным] приц[ипом]. Это надо доказать, а не утверждать. Следовало бы М[иллю] перебрать все характерн[ые] нравств[енные] понятия людей различных времен и показать физически, что всех их была польза и именно какая польза. М[иллю] следовало бы здесь, что очень важно, показать механизм влияния данного принципа на совесть человеч[ества].

[Стр.] 72–77. Только здесь указал М[илль] на общество, на общность интересов людей, как на причину своего принципа. Да и то неполно, неясно. Буржуазная точка зрения помешала видеть ему, насколько классовая борьба играла и тут значение. Больше вздыханий тут у него, чем доказательств. Все основывается у него на взаимном признании интересов (мещанская мораль) и сводит к тому, что принцип пользы должен восторжествовать, когда дети будут воспитываться и окружены «утилитарианами как по убеждениям, так и по поступкам».

Такой ваш принцип, когда он зависит от ваших поступков.

Глава IV. О доказательности принципа пользы.

Ошибочно все основывать на том общем положении, что человек стремится к счастью. Об этом я уже говорил.

Стр. 80–85. Образчик доказательства: «Добродетель в сущности не есть цель, а только средство для достиж[ения] цели, и если бы она не была средством, а сама составляла бы цель, то и не была бы благом (не получив что ли штемпеля или похвального листа от М[илля]?) Следовательно (из чего

следует?) не как цель, но единственно, потому что оставляет средство для достижения цели, и может она сделаться желательной сама по себе».

[Стр.] 86–87.Верно представлено, что средство к достижению цели само делается для субъектов целью — благом.

На этом покамест закончу. Что касается связи справедливости и пользы, напишу когда-н[ибудь] другой раз, получив ответ на это.

Писем пока не просматривают!

5
Село Кайгородское.
19–20 января 1899 г.

19/I.99

Вчера вечером получил Ваше письмо. Его не читали. Покамест не читаю. Сколько дум и мыслей навеяло оно, как вовремя оно пришло — вчера мне было почему-то особенно грустно, что-то не шло, хотя долго сидел за книжками. Читаю теперь больше, даже 8 часов, совсем почти не гуляю. И что это со мной, почем это так, не могу разобраться. Вот думаю себе, Вы там, в Н[олинске], Вы бодры, Вы даже веселы, так как будущность для Вас ясна, а в настоящем Вы силы внутренние имеете, Вы можете внутренней жизнью поддержать себя и жить только ею. Как глуп, как близорук я был, и Вас даже я мерил свой меркой, давая столь чуждые Вам советы. Нет, я знал, что это глупо, а однако написал! Но бог с этим. Вы хотите знать мою внутреннюю жизнь, мои чувства, мысли, настроение. Да знаю ли сам

я их? Настоящее меня не удовлетворяет, а мучит только, а иным оно быть не может и не быть ему иным, если не стану таким, каким я должен быть. Потому *должен*, что хочу и только этого, хочу быть работником.

Я Вас люблю, и так сильно, насколько способен, и как никогда в жизни еще никого не любил. В Вас сосредоточились все мои чувства, о которые я не знал раньше, так как делом был занят, а в деле не было и времени, и нужды рассматривать свои чувства. Чувство меня гнало к делу, я делом сгорал и о нем думал. Я думал, считал себя великаном, я сравнивал себя с Христосом даже. Мне подчас минутами и тут даже казалось, что я могу обнять все страдания людские, страдать за других и искупить человечество. Но недолго продолжались такие миражи. Я падал с высоты столь ужасной в действительность. Я карлик. Да ведь и горя-то единичной личности я не могу в себе совместить, и как это ужасно и мучительно сознавать это и не иметь возможности найти исхода. Жить личным счастьем — счастьем, когда миллионы мучаются, борятся и страдают, когда по тюрьмам гниют и с ума сходят, стуча головами в одиноч-

ках, когда вся земля стонет от ига, против которого мы боролись, и за которых мы готовы жизнь свою отдать – и сознательно здесь искать счастье, относительно хотя бы только, – это возмутительно, это невозможно. Мы надуваем себя, думая так. Читаю теперь «Рудокопы», читаю как раз описание стачки. Прошлое хлынуло на меня так сильно, что голова кружится, жутко мне и то стыдно за себя, то снова возмечтаю, то кажется, что счастье наше (мое и Ваше) – это страдание за других, борьба, то иначе кажется, и не могу я выбраться отсюда. Я высказался наконец. Я все Вам пишу, потому не могу, не могу совладать с собой и думаю, что и с Вами это должно быть – не так ли? Ведь так? Да страдаю ли я за них, нет, нет и нет. Я страдаю за себя, что нет во мне того чувства. – Нет, довольно, как это меня мучит и как с этим помириться нельзя. Не могу писать. Меня что-то ест и грызет. Мысли кружат, голова пылает.

М. Ф., дорогая моя, мы ведь будем работать, работать вместе, будем вечно напоминать друг другу, если нужно только будет, за что мы здесь и какова наша будущность, где жизнь, борьба и мучения. Личное наше сча-

стье должно быть — общая работа, поддержка в ней. Дело, работу мы ведь выше поставим друг друга, даже если в борьбе кто-н[ибудь] из нас и погибнет раньше, то другой еще с большей силой, с удвоенной энергией возьмется за двоих. Теперь нет дела, но может и должна быть борьба хоть сам с собой. Это тяжелая борьба, но раз мы здесь в ссылке, позаймемся хоть чем возможно, раз удастся нам заглушить все, что мерзко и пошло, тогда уж нечего будет бояться будущности, где будет столько работы, что думать нам о себе не придется.

Как рад я, что встретил Вас — я, конечно, остался тем же, что и был, но — поддержка есть. Я действительно чувствую, что есть близкий, дорогой мне человек, и я теперь не упаду, я буду лучше становиться и становлюсь, а что подчас так скверно на душе бывает, так это борьба происходит, это и хорошо, и раз из такой борьбы я выйду годным к делу и для него я только и жить буду — я скажу, что не напрасно был я в ссылке, недаром так сильно полюбил Вас, недаром столько борьбы произошло во мне. А что борьба успешна для меня как работника будет, в этом я теперь уверен. И как не будет грустно, все

складывается так, что мне быть веселым трудно и прямо невозможно, хотя это и лучше для меня. Я хочу жизни, хочу Вас видеть, с Вами быть – это тоже невозможно. Вы сами знаете, и писал Вам, кажется, в прошлом письме, почему: хочу сам лучше быть, а ведь сколько надо сил потратить на это. Но эта грусть, тоска – это фильтр. Из него я должен выйти чистым, и я выйду таким из него.

Поздно уже, кончать пора. Поздно начал писать. Я, может быть, и даже должно быть, глупостей много написал – я сегодня вечером немного почему-то нервным стал, а потому и писал так бестолково. Боюсь, что не поймете меня и не разберетесь в такой путанице. Завтра прочту написанное. А теперь в кровать, хотя, должно быть, не скоро усну. Надо успокоиться. Не огорчайтесь этим письмом. Помните, что все это необходимо, и без такой борьбы невозможно будет нам хоть сколько-ниб[удь] сносно устроиться.

Спокойной ночи пожелайте мне и до завтра.

20/I

Прочел, что вчера написал, хотел было порвать, да зачем. Ведь это я верно пережи-

вал и это мучило меня. Больше будете знать меня, мы будем дороже друг другу.

Жизнь тихая, чтение только меня мало, очень мало удовлетворяет. – Меня влечет к себе прошлое, и в этом прошлом и Вас я вижу, мне кажется порой, что с Вами я так давно знаком, что мы вместе работали. Но возможность Вашего скорого приезда сюда иногда так мне кажется реальной и желанной. Так хочется, чтоб Вы сейчас же приехали сюда, и столь ясно сознаю, что это будет хуже для нашей будущности, что не могу спокойным быть, душа рвется куда-то, и находит такое скверное настроение. Но без этого, право, нельзя, это есть признак того, что я изменяюсь. Сила воли из такой борьбы может и должна выйти могучей. Я буду тогда владеть собой, управлять собой и во всех обстоятельствах не пасть духом. Я молод, как человек известных чувств, я не сложился еще – теперь хотя самое трудное, но уже последнюю пробу приходится выдержать. Сначала, когда не знал Вас и представлен был сам себе, исходом такой борьбы была апатия, бессилие. Теперь же нет, я с каждым днем становлюсь все сильней и сумею, наконец, прийти в равновесие душевное. Весел, должно быть,

не скоро буду — жизни мне надо, кто узнал ее и жил ею хоть минуту, не забыть ее уже никогда, но что успокоюсь, перестану копаться в себе, это наверное. Вы не рады, что анализирую себя, ведь копание это происходит оттого, что я определяюсь, что для меня время тюрьмы и теперь было и есть покамест временем переходным. Как только я определюсь как личность — все это само собой отойдет.

Помогайте только, насколько сил Вам хватит, мне в этой борьбе, а не хвалите. Этим Вы мне силы отымаете. Дорогая М[аргарита], поддерживайте как только можете, иначе печально сложится жизнь наша. Еще неделя, другая, и я успокоюсь. Вы должны радоваться тому, что во мне происходит, потому что без борьбы ведь я не мог бы быть в ссылке порядочным, а из борьбы я выйду им теперь. Личное чувство, так страстно овладевшее мною, пробудило меня, оно мне осветило все прошлое и припомнило о том, для чего мы здесь, какая наша будущность, что она потребует от нас; напомнило те чувства борьбы борющихся теперь, их страдания и полную мужества и лишений жизнь.

Я получил письмо оттуда, идет неважно. Почти все разбросаны, как мы, или сидят. Тот, о котор[ом] говорил, цел, но жизнь его нравственно хуже себя чувствует, чем в тюрьме, все ж таки полезен. Один опасно болен. Некоторые целы, но их мало. И как же не грустить. Я чувствую, как напряженно, отчаянная ведется там борьба, а я тут что? Нет, будем заниматься, будем учиться, любить друг друга, поддерживать и помнить, что все, все это для того, что нас ожидает. Я не умею страдать так, как мне хочется, и это для меня тяжко. Я писал вчера, что казалось иногда, что я могу – все это оттого, что Вы не знаете, как жадно хочется мне этого и действительность горька. А еще худо и то, что А. И. меня совсем не понимает, в сущности, а открываться не хочу и не могу. И для него это плохо. Я стал сильно раздражителен и очень мало говорю, мало гуляю, помогаю ему нехотя. Так выходит. Два раза даже поссорились как будто уже, т. е. немного остро переговорились. Одни раз я несправедливо напал на него, что он говорит ненужное при уряднике, а другой он возмутил меня страшно. Разговаривали о денежных средствах. Он высказал предположение, что ему придется,

быть может, одолжить у ростовщика с 300%. Я говорил, что покамест об этом говорить нечего, т. к. у меня денег, по всей вероятности, будет достаточно на обоих, так что можно обойтись без этого. Тогда он начал что-то говорить о векселе и о ростовщич[еском] проценте. Сболтнул он это, и слишком гордый, но все ж таки это возмутительно, и я теперь даже не могу успокоиться. С кем он меня приравнял? Он говорил потом, что на деле тем хуже, с кем он дело приравнял. Действительно одинок я и, право, не рад, что нас вместе послали. Хотя винить его нельзя, и что он очень добр — это факт, но не знает людей и горд уж до... сам не знаю, как уж сказать. Я теперь очень мало занимаюсь хозяйством, Абрашка меня и А. И. несколько выручает. Он у нас почти что живет, не ночует только, хотя часа 1,5–2 есть занятий по хозяйству и на мою долю. Кроме того, комната теплая у нас одна только и несколько мешают мне, однако помнят, что я занимаюсь, и А. И. меня старается не отвлекать, хотя если бы жил один, то, может быть, хуже бы было. Среди людей не хочешь выдавать себя, а потому больше силы чувствуешь, чтобы работать. Будучи же один, этого бы не было и

могло быть хуже, в тишине воображение больше овладевает человеком, оно же может быть очень удручающим. Хочется, правда, быть часто одиноким. Написать Вам, чтобы никто не видел и не спрашивал, куда и зачем. Но что сделать? Во всем найдется и плохая, и хорошая сторона. Но хорошо еще то, что А. И. не хочет раньше меня идти спать. Я читаю или пишу, а он, измученный дневной беготней, лежит, не раздеваясь, и ожидает, покамест и я не пойду спать. Вот и теперь точно так же. Один я только чувствую себя, когда потушим лампу. Я долго уснуть не могу, а он сейчас же уснет, и я все думаю и думаю и должен лежать. Я люблю даже это время. Сколько переживаешь тогда и не думаешь, что вот на тебя смотрят и читают мысли на твоем лице. А ведь думать *постоянно* об этом, это довольно трудно и неприятно, хотя у меня уже входит, если не вошло уже, в привычку быть на вид хладнокровным.

Но довольно об этом. И так слишком уже, пожалуй, теперь расписался о своем настроении. Теперь мне лучше и даже совсем почти покойно. Я высказался перед Вами, я буду знать теперь, что Вы лучше меня поймете, что все, что меня волнует, найдет живой от-

клик. С Вами мне хорошо будет. Мне радостно, что Вы так бодры. Мы теперь уже не только будем, но и работаем, что в будущем я Вам, быть может, много дам, ведь теперь я живу Вами, и чувством своим Вы меня поддерживаете, сил мне придаете, а Вы живете только чувствами своими и, главное, своими внутренними силами. Без Вас со мной прескверно могло бы быть, и Вам без меня разница небольшая. Вы мне не возражайте. Не хочу. Это я не сболтнул, а вытекает из всего понимания самого себя и Вас. А потому мне будет неприятно, если Вы что возразите. В будущем я должен Вам, может быть, и много дать, но теперь я слаб. Но буду я силен. Право, не узнаете меня, когда приедете.

Лампа что-то темнеет, керосину нет, волей-неволей пора спать, уже первый сейчас час. Почта идет послезавтра, Напишу еще о занятиях своих. К С. А. напишу завтра. Е. А. я очень уважаю, но писать не хочу, выйдет неискренне.

Спокойно ночи.

Т[вой] Л[юбящий] Ф[еликс].

6
Село Кайгородское.
21–22 января 1899 г.

21/I. 99

Вы думаете, что теперешняя моя тоска не позволит мне заняться. Нет, это неверно. Будущность для меня теперь как-то реальнее, а прошлое как живое стоит перед глазами. Тоска мне сил теперь не отнимает. Ведь она есть борьба лени, пошлости, фантазерства с тем приливом сил, которые теперь я ощущаю. Я ведь еще не сформировался, во мне находятся самые противоречивые чувства, стремления, желания. Как же не быть этой тоске? А что скоро пройдет она, и я сделаюсь хоть не таким, как Вы хотите и думаете, а все ж таки сильнее, чем теперь, и более полезным в будущности. Я смогу быть теперь уверенным, т. к. я Вас полюбил, во мне проявилось это чувство, а оно столько сил дает. Поэтому еще раз не огорчайтесь этим, тем более, что занимаюсь я много и

усердно. Может быть, и меньше читаю, чем порой в Н[олинске], да зато гораздо толковей. Я Вам писал о распределении своих занятий. Исполняю его, положим, не очень, берусь читать за то, что больше в данный момент хочется, но время занятий фактически даже больше, чем в расписании. Я знаю, что уж слишком взялся и что потом буду меньше читать, но теперь, чтобы втянуться в занятие и не чувствовать себя уж нехорошо, я заставлю себя столько времени сидеть за книгой. О рынках Булгакова я прочел уже. Это очень важная книга для марксистов в спорах с народниками. Эти последние ведь утверждают, что как будто это само собой понятно и не требует доказательств, что без внешних рынков (понимая под этим или рынки заграничные, или крестьянство внутри данного общ[ества], но еще не захваченное в его производстве капитализмом) развитие капитализма невозможно. Между тем, Булгаков указал весьма ясно, что капитализм сам себе рынок создает и что развитие его возможно и без внешних рынков в том смысле, как его понимают народники. Он выяснил настоящее значение внешних рынков и несостоятельность понимания их народни-

ками. А именно, необходимость во внешн[их] рынках вытекает из условий естественных (одна страна, напр[имер], производит только хлопок, а другая изобильнее в хлебе) и исторических (производство крупное при своем возникновении развивалось внешним рынком — приморские города), а отнюдь не есть внутренней необходимостью капиталистич[еского] производства вообще. Доказал же он это, рассмотрев, как происходит накопление и расширение производства и при каких условиях происходит перепроизводство и вытекающие из этого кризисы: излишек прибавоч[ной] стоим[ости] идет на увеличение постоянного капитала и на необходимый при расширении производ[ства] переменный. Как средства производства производят орудия для себя и для капиталистич[еского] произв[одства] средств потребления и обратно. Причем производство первых все возрастает, а вторых относительно уменьшается.

Книга, по-моему, очень и очень важная, хотя трудная. Очень много времени на нее потратил и все-таки одного параграфа не одолел, а именно об обороте капитала, хотя сам Бул[гаков] рекомендует для неспециа-

листов ее опустить. Вся книга основана на II т[оме] Маркса. Завтра думаю его начать. Неясен также его разбор того положения, что заработная плата берется не из текущего, а из предшествующего производства и что при этом только условии возможно расширение производства. В общем, дала мне много эта книга и для постановки некоторых вопросов новых, и для большего уяснения вопросов старых, хотя к некоторым его положениям отношусь скептически, но не критически, так как нет нужных знаний. Вообще занялся теперь более всего политэкономией. Вот интересует меня страшно закон равного уровня прибыли и согласования с ним теории о ценности. Прочел я поэтому еще раз с начала до конца Волгина.

Помните тот вечер, я читал, и Вы слушать не хотели? Скоро ли думаете взяться за него? Насколько уясняю себе, Маркс так решает данное столкновение: надо рассматривать капитал всей, представляющей в экономич[еском] отношении целое, единицы (государства таможнями каждое подавляет из себя такое целое, а без них представляют мировое хозяйство). Вследствие конкуренции прибыль на капитал должна иметь тенден-

цию быть равной во всех производствах, иное без этой тенденции капиталистич[еское] производство было бы немыслимо. А так как капитал разделяется на постоянный и переменный в различных производствах не в одинаковой пропорции и так как всякую прибыль (вообще прибав[очную] стоим[ость]) создает переменный капитал, то различные по величине переменные капиталы (рабочие) создают одинаковую прибав[очную] стоимость.

Очевидно поэтому, что полученная каждым капиталистом в отдельности приб[авочная] стоим[ость] отклоняется от производственной его переменным капиталом. Но это отклонение совсем не может уничтожить теории, что ценность определяется трудом, если принять во внимание слова Маркса, что закон, определяющий ценность (и прибавочную), значит, ценность трудом реализуется через постоянные отклонения от этого закона в капиталистич[еском] строе, полном всевозможных противоречий. Но прибав[очная стоимость] на весь национальный капитал определяется количеством труда, эксплуатируемого данным капиталом. Возьмем пример: процент прибыли в стра-

не, положим, равен 10. Предположим, что весь национальный капитал равен 20 000 каких-ниб[удь] денежных единиц. Прибавоч[ная] стоим[ость], следовательно, равна 2000. Положим, что эти 20 000 распадаются на 10 000 постоянного капитала и 10 000 переменного, т. е. производящего прибавочную стоимость (по теории трудовой стоимости постоянный капитал не участвует *в создании* вновь стоимости, его стоимость через процесс труда только *переносится* на продукт). Предположим еще, что 20 000 национального капитала распределены между двумя собственниками (2, 3 или сколько угодно, здесь все равно) по 10 000 у каждого, и капиталы их в произв[одстве] так распределены:

у I – 8000 постоян[ного] кап[итала] и 2000 пермен[ного],

у II – 2000 – « –« и 8000 –«–.

Вследствие закона одинакового уровня прибыли, который сущ[ествует] вследствие конкуренции, каждый из них получает по 1000 приб[авочной] стоим[ости]. Следовательно, первый из 2000 получает 1000 пр[ибавочной] ст[оимости], а II из 8000 тоже 1000 п[рибавочной] с[тоимости]. Степень же эксплуатации рабочих, как у одного, так

и у другого, должна быть одинакова, т. е. должны мы принять, что рабочая сила оплачивается по ее стоимости. Откуда же I может получить столько же, сколько и II, если он меньше имеет рабочих, меньше рабочих часов? Продавая свои товары дороже ее ценности. Действительно, из наших предположений вытекает, что степень эксплуатации будет 2000 на 10 000 (приб[авочной] ст[оимости] национ[альной] на национ[альный] перемен[ный] кап[итал].), т. е. будет равняться 20%. В нашем же примере I получает 1000 на 2000, т. е. 50%., а II – 1000 на 8000, т. е. 12,5%. Достигается же это тем, что I продает продукты дороже самой ценности, а II – дешевле, иначе капиталистич[еское] произв[одство] не могло бы существовать. Из этого вытекает, что действительная меновая ценность не совпадает с трудовой и что это отклонение есть необход[имость]. Маркс сам это утверждал.

Я о научных вещах не умею ясно выражаться, а потому простите, каким образом Маркс доказал и огласил свою теорию, этого я хорошо не знаю. Надо его самого прочесть. Об этом есть, кажется, в н[аучном] с[борнике] статья Энгельса. Вообще страш-

но много еще надо заниматься, чтобы усвоить себе как следует марксово учение и не быть только догматиком, по крайне мере, хоть не сознавать своей догматичности.

Волгина прочел. Но он больше критикует, чем выставляет новое. Вообще мне кажется, он очень хорошо представил, что все начинания наших критических голов «темзнающих историю» ведут скорее к насаждению капитализма, чем поддержанию его «устоев»? Припомнились мне его «проезжающие номера». Булгаков ведь тоже употребляет «трудовая теория стоимости». Вообще теперь позаймусь как следует политич[еской] экономией. Французс[кая] революция, как и вообще все революции, тоже скоро, должно быть, будут на очереди. Теперь же легким чтением будут статьи из «Науч[ного] обозр[ения]». Хорошие там есть статейки. Конечно, вдумываться как следует во все мне трудно, привычки нет, голова непривычна работать, но все же таки за это время я вдумываюсь больше, чем в Н[олинске]. Мне одному довольно трудно заниматься, так как вообще голова моя лучше работает, когда я возбужден. Это же бывает тогда, когда я в обществе, конечно, соответственных людей. Но при желании и уси-

лиях я этого достигну. О Милле я Вам прошлый раз писал. Можете из написанного представить, насколько действительно безалаберна моя работа. Кстати, насчет безалаберности, несосредоточенности и непривычки к усидчивому умств[енному] труду русских. Вы жалеете, что так есть, я же нисколько. Разве у нас те же условия, что и заграницей. Разве наша русская действительность может в общем создавать те же типы, что и там? Нет, наша жизнь иная и иные люди, если бы было так же, это было бы признаком, что интеллиг[енция] наша помирилась с господствующим порядком, что интересы буржуазии удовлетворены, этого же нет, а потому больше жизни в нас, чем у заграничных. Не люблю я заграничную интел[лигенцию], потому что она, как представительница буржуазии, уже не имеет ничего общего с интересами передовых. А потому незачем жалеть, так как соединить одно с другим можно только как исключение. Не всегда ум и знание дают фактическую силу, в залах да, но на базаре, в лачужках знание почти нуль. Не логика определят влияние, а практические требования, знание жизни, знание людей определяют это влияние. Не дай бог искуситься в логических со-

стязаниях, потому что часто и очень даже часто среди нашей интеллиг[енции] эти состязания вполне удовлетворяют ее и только ею довольствуются. Например, Н., мне кажется, вечно бы довольствовался этим, если внешние причины не заставят, не побудят. Для него логичность прежде всего. Но бог с ним, не люблю о таких людях думать. Они своей дорогой, а я своей. Не злюсь я на них, они для меня безразличны. Развитие ума и знание теперь только в ссылке очень важны, они дают силы, время производительно при них идет, не измельчаешь, можешь стать выше всех неприятностей. Теперь они важны, потому что нет никакого противовеса в этой бессмысленной и бездеятельной, монотонной ссылке. Не боюсь теперь я ее, я буду теперь и в жизни гораздо полезнее, постояннее, усидчивее, я с большей силой буду чувствовать страдания, несчастья людей, я буду не только понимать их борьбу, но и чувствовать. Я очень оптимистически настроен теперь, я так рад, что и Вы яснее, определеннее смотрите на свою будущность и не должны о ней никогда сомневаться; раз в ссылке мы не поддадимся тоске, безделью для идеи только при мысли одной о будущем, то будущность, она

нас не удовлетворит, поглотит, и жизнь не даст нам места в ней.

Но довольно об этом. Это уже решено и нечего об этом распространяться. Тем более, что чай надо пить. Только что пришел сын нашего хозяина. Что за мерзкие здесь мужики. Действительно верно приводит Волгин чье-то мнение, что каждый мужик кулак в зародыше. Представьте себе, парень 18 лет, и не стесняется рассказывать о том, что раз, ушедши на заработки, когда товарищ его не имел на что вернуться, – хозяин их надул, удрал за границу с 100 000 рублями, – одолжил ему на 10% на неделю. И совсем без стеснения говорит, как будто бы милость даже какую сделал. Есть тут тоже один прогрессист, у него земской оклад, складно говорит о невежестве мужиков, тип при поверхностном знакомстве симпатичный, но в сущности тоже кулак. Он же здесь волостным судьей. А. И. ходил сегодня и говорил, что он же старался бедняка-должника запутать, а богатого лавочника, держащего здешний бедный люд в сетях, как должников, выгородить. Да и бедные здешние при удобном случае стараются воспользоваться. Нет здесь того идейного типа, который выраба-

тывается там, где есть борьба, солидарность – нужда тут еще условие недостаточное. Нельзя никогда найти даже личного удовлетворения, работая в такой обстановке, где и нет работы для мыслящего человека и где люди столь несимпатичны и не могут быть иными. Нет, только не зная деревню, можно ее идеализировать, можно чувствовать влечение к этим людям. Правда, тут нет шуму городского, его разврата, крайней нужды городской, тут больше можно найти удовлетворения, быть может, эстетического, но тут, в этой тишине, в этом болоте, столько мерзостей, пошлости есть, что тут друг друга покроют и за городом все-таки останется большой плюс, а в деревне его или совсем нет или сводится к самой незначительной величине. Город, городская борьба, он только в критическое время может пробудить деревню и поднять ее затем, чтобы потом снова упала в спячку и своим равнодушием и консерватизмом задавила усилия пролетариата вырваться из постоянной, вечной подневольности. Так было на Западе, где городское население было сильнее. Так было во время Французской революции, где, опираясь на мелкую буржуазию и крестьян-

ство, крупный капитализм задавил рабочих и лишил их всех политич[еских] прав. Мелкой буржуазии, в особенности крестьянства, требования, нужды были удовлетворены; были уничтожены все, мешающие борьбе их за существование, полит[ические] и экономические привилегии дворянства, им того только и нужно было. Интересы среднего крестьянства (оно в большинстве составляло тип франц[узских] тогда крестьян) не противоречат интересам промышленной буржуазии — они даже в весьма многом совпадают. Вот почему мне так не нравится выставляемое С. А. и Е. А. пол[ожение] о солидарн[ости] и об общности интересов крестьян и пролетар[иата] в данное время. И вот когда пришлось столкнуться непосредственно с этой серой массой нашей «матушки Руси», тяжко становится на душе. Она ведь задавит все то, что так дорого и заветно для меня и вообще нас всех. Горестные мысли приходят тогда, ведь не скоро добьешься свободы, когда еще такая чернь темная, эгоистичная в самом узком значении у нас является и долго еще будет решающей. Противны народники с их «устоями», но чем более энергии, тем более силы должны мы проявить.

Дорогая, будем вечно, вечно бороться до последнего вздоха, пусть не вырвется из уст наших жалоба — одно, одно — борьба за светлое, ясное будущее, которое хотя и не придется нам видеть, но помириться с теперешним положением и бездействовать — прямо самое ужасное преступление. Пусть капитализм шагает как можно быстрее и разрушит эту варварскую крестьянскую Русь и усилит нашу рабочую армию. А мы идем своей дорогой и только ею. Наше чувство так сильно, потому что нас обоих больше всего соединяет наша будущность, цели наши, я в Вас и в себе теперь уверен, что не отступимся никогда от своей веры — жить, чтоб трудиться. А если приходят тяжелые минуты, так этим нечем огорчаться. Чтоб быть сильным, ведь надо выбросить все дурное, раз оно в человеке есть.

Слушайте, зачем Вы думаете, что я недоволен буду Вашим последним письмом. Вы даже, кажется, убеждены в этом, т[ак] к[ак] 2 раза об этом повторили и даже последняя мысль была эта. Уж слишком плохо думаете о[бо] мне, о моем самомнении. Вы немного побранили меня, да ведь это поделом — советы я Вам давал глупые и нелогичные. О само-

анализе тоже много правды, хотя тут скрывается незнание меня. Чтоб я ни сделал, я всегда спрошу себя, что меня побуждает, особенно в такой переходный момент, как теперь. Сознательности мне трудно потерять. Какое бы чувство не овладело мной, я должен спросить (и это долженствование чисто органическое) себя, зачем и почему? Больше всего – зачем? Это указывает на большее развитие рассудка моего, чем чувства. Я, кажется, всегда взвешиваю поступки свои и хотя иногда следую чисто инстинктивным побуждениям, так это потому, что сил или надобности противится нет, но все-таки сознаю.

Но и я Вас побраню вот за какую мысль: «Если бы Вы уехали, не сказав о себе ничего... то (между прочим) *всякая* энергия пропала бы». Это преувеличенная минутная мысль, неверная, а потому надо остерегаться писать так. Это увлечение. Вам было бы хуже, это верно. Вам тяжко было бы пережить это, потому что Вы слишком глубокий человек, но это не могло бы отнять у Вас энергии. Извините, я может неверно понял Вас, даже так, наверно, стоило бы зачеркнуть, но хочу я это выяснить, чтоб не было никаких

сомнений. Но положим, это глупости, что было бы, это нас не может интересовать. Самое главное, что есть, а есть хорошо. Энергии у нас больше, занимаемся усидчивее, не чувствуем такого одиночества, будущность наша — за нее нам покамест нечего опасаться, а скоро мы, может быть, увидимся, позаймемся вместе. Необходимо только для меня пройти эту 4-месяч[ную] пробу, без которой я не могу за себя, за свою будущность поручиться.

Почему Вы до сих пор не сходили к доктору? Если в следующем письме не напишете, что с глазами, право рассержусь. С какой стати я буду писать о своем здоровье, когда Вы о себе не хотите писать?

Нога моя прошла, глаза лечу. В общем здоров, холоду не ощущаем, не зябнем. Доктор здешний почти ничего не стоит, благо нога-то совершенно прошла уже и захватил рецепты Ребровского.

Смотрите, пишите и сходите, иначе совсем не пишите ко мне. Это я без шутки говорю. Скоро ли карточка будет готова?

Я Вам писал в этом же письме вчера о А. И., что как будто мы с собой нехорошо живем, написал это под впечатлением того

факта, а потому будучи раздражен. Нет, нам хорошо с ним. Немного себе не соответствуем, да ведь нигде гармонии не найдешь, а в сущности мы с собой живем хорошо. Кланяется он Вам.

Почта завтра пойдет вечером, должно быть, завтра закончу. А сегодня надо еще позаняться. Буду читать из «Науч[ного] об[озрения]» статью Булгакова о ценности. В ней он объясняет, как Маркс понимал ее и как Маркс разрешал противоречие, что ценность определяется трудом абстрактным, и что в действит[ельности] не соответствует меновая ценность трудовой. Затем, как квалифиц[ированный] сложный труд сводится к простому. Одним словом, очень важные вопросы.

Видите, что и я не унываю. Наверно, и Вы теперь занимаетесь. Или нет? Ведь сегодня Вы должны получить ответ на свое первое письмо. Письмо идет 6 дней, выслал 15, у Вас должно быть 21, т. е. сегодня. Значит, Вы думаете обо мне, о нашей будущности. Хороша она будет. Мне хочется Вам каждый день писать, но это отвлекает и занимает время. А хочу так заняться, чтобы действительно все Ваши и мои надежды не оказались

только надеждами. Вы должны приехать сюда, мы должны помнить, что перед нами и вне нас, а потому должны набрать сил, а их дадут знание, умственный труд. Я говорил раньше, что я неспособен, но кто неспособен, тому смерть, я жить хочу – должен быть способным. Вот и решение.

А теперь до скорого.

Л[юбящий] В[ас] Ф[еликс]

22/I

Получили сегодня письмо от Е. А. Жулье мы порядочное, что до сих пор им не написали. Только что я окончил им писать.

Получил я письмо с родины. Вести довольно хорошие теперь, но что-то туманные. Должен ответить, времени совсем нет. Почта скоро, кажется, пойдет. А мне много придется писать, потому что теоретич[еское] письмо будет, должен же, да хочу ответить ему, ищущему еще пути, да что хуже всего, в облаках, думая, что это земля.

До свидания, дорогая, до скорого.

Позаймемся теперь, будем действительно «умницами», а им не страшна никакая борьба.

В[сегда] Л[юбящий] Т[ебя] Ф[еликс]

Еще, может быть, найду время ответить на Ваше определение [нрзб.]. Мне хочется с Вами поспорить, но это потом. Чувствую себя теперь очень хорошо.

7
Село Кайгородское.
29 января 1899 г.

29.I

Получил только что Вашу записку. Письма ответные теперь уже должны были получить. Их еще не перехватывают. Спешу написать несколько слов, потому что сегодня почта уже отходит. А у меня к Вам дела. Во-1), посылаю Вам газету № 338 «Сына Отечества», довольно интересный номер; во-2), посылаю Вам письмо, писанное к моему знакомому. Я хотел, чтобы Вы его прочли и отправили на место назначения. Вы, наверное, будете удивляться, что Вам посылаю писанные к другим письма, но не слишком ругайте меня за это. В нем есть теоретич[еские] некот[орые] мои взгляды, а потому отчасти я посылаю через Вас. О подробностях, почему, скажу, как приедете, вообще, как увидимся.

Еще одна просьба, не знаете ли кого-ниб[удь] надежного в Саратове? Если знаете,

то напишите – да или нет только. Более делового ничего не имею, а потому могу приступить к себе.

Я отправил третье письмо 15/I. Вы должны были получить 21 или 22. Сегодня я ждал ответа, должно быть, получу в понедельник. Я уверен, что мои письма пропасть не могут, потому что сдаю под расписку. Это письмо пятое.

Не грустите и не злитесь только, пожалуйста, на себя, что не сразу все можете одолеть, особенно так[ую] трудную, требующую в сущности огромной эрудиции книгу, как Нежданова. Чтобы вполне к ней критически отнестись, надо и теорию познания знать и связь философскую между свободой и необходимостью и массу других книг и наук философских. Для этого же, конечно, жаль времени тратить, есть более насущные знания, которыми нам следует запастись за это время. Самое главное, чтобы понять, что доказывает Нежданов и как он доказывает, а если нет покамест материалу, запасу для полемики с ним, то теперь это не важно, да и потом вряд ли важным будет.

Вообще, мне кажется, надо избегать загрясть в философии, потому что она часто

учит играть только словами и не имеет никакого, по крайне мере, для нас, отношения к жизни. Для меня наука важна постольку, поскольку она может найти применение в жизни. Общие же теории стараюсь теперь изучать потому, чтобы заставить башку свою думать и потому что другого нет чего дельного.

Я не знаю Вундта психологию. Знаю только, что психология очень связана с теорией познания, а потому должна быть вещью очень тяжелой. Мне трудно ее было бы читать, потому что быть сосредоточенным, читая подобные книги, я заставить себя не могу. Напрасно только выбьюсь из сил. И зачем Вам так усердно браться за эту, в сущности, метафизику, которая и мировоззрения Вашего практически видоизменить не может и не даст положительных знаний. Всякое знание полезно, всякая умств[енная] работа полезна. Это так, но различны степени полезности различных наук. Я бы Вам советовал больше читать, изучать книги общественного содержания. Исторические, по политич[еской] экономии, фактические описания положения рабочих, сравнения России с Западн[ой] Европой, развитие

производ[ительных] сил в России, и если Вы и я запасемся достаточным знанием в этом направлении, то в остальных мы можем остаться дилетантами и полными даже невежами. Будущее ведь потребует от нас знаний в известном направлении. Нравственность еще важна как явление общественное, психология же есть физиологически-философская наука, ее поэтому стоит только читать, а не изучать. Мне хотелось бы, дорогая, поговорить много с Вами об этом, но нет времени – почта сейчас идет, и голова трещит что-то. При этом я снова сегодня получил письма с нехорошими вестями с родины. В этот понедельник постараюсь послать письмо. Напишите, нет ли кого в Саратове из Ваших знакомых и получили ли № газеты. Вам, кажется, не хватало фельетона из этого № 338 М[амина]-Сибиряка. Общий любимец публики.

А Вы о здоровье снова ни слова. Если Вы не будете писать и не ходили к доктору, то это неразумно и не исполняете своего слова.

А затем до свидания.

Л[юбящий] В[ас] Ф[еликс]

P.S. Занятия у меня идут не плохо и не хорошо. В общем доволен собою. Пишите, что

Вас затрудняет у Нежд[анова]. Я, быть может, скоро достану эту книгу. Читаю Михай[ловского] (что такое прог[ресс]) научные [работы] и Маркса сразу. 2 дня серьезного совсем не мог читать, читал повесть из времен Мадзини и Гарибальди «Овод». Взял у учительницы.

8
Село Кайгородское.
30 января 1899 г.

30/I

Это шестое письмо (не счит[ая] откр[ытки]*). Получили ли газету? Считаю потому, чтобы знать, не затерялись ли которые. Если письма перехватывают, то лучше писать реже, но заказными. Во всяком случае, это несколько гарантирует получение писем.

Вчера я Вам отправил письмо. Не удалось по душе поговорить, голова болела, был несколько собою и обстановкою недоволен, вести из дому не выходили из головы. Там надо людей преданных – борьба истощила силы многих, а других совсем устранила от жизни, иные, как видите из моего письма, стали искать новых путей – надо людей энергичных, самостоятельных, их пока нет, правда,

---

* Ф. Дзержинский помимо писем отправил М. Николаевой несколько открыток.

жизнь скоро их должна выдвинуть, дать им силы и продолжить борьбу с большей силой, все пойдет своим чередом, и слезы заглушатся криками: «Вперед!». Но теперь во многих местах ничто не заглушает их, и может другим показаться, что хуже стало, потому что в бою мало их видели, не думали об этом, и приходят отовсюду сомнения в головы немногих оставшихся. Мне хуже всего бывает, когда я ясно сознаю, как далеко я от жизни, которая меня так и тянет. У меня разные бессмысленные планы родятся, возобновляются в моей голове затем только, чтобы сознать их неосуществимость. Но головой стены не расшибешь, и себя тоже расшибить нет смысла. Ведь еще нам будет время пожить хоть немного и пожить той жизнью нам вместе. Я мечтаю о том времени постоянно. Только месяц второй идет, как мы расстались, а кажется уж столько прошло времени, сколько дум побывало в голове, сколько умных и глупых мыслей перечиталось, сколько раз порою то затоскуешь, то снова приободришься, и это всего в один месяц. Напряженно жилось последние 2 месяца. Жажда жизни, неуверенность в том, что личное чувство я могу испытывать, что оно не мешает буду-

щей работе, наличность самого этого чувства, роковая необходимость разлуки, испытания — взять себя в руки, то порою овладевающее тебя сознание, что ты и тебя любят, и заставляющее о всем не свете на минуту забыть, заглушить в тебе сознание ссылки, то снова приподнятая энергия учиться, учиться и научиться, то полная неудовлетворенность действительностью, обстановкой, то неуверенность в себе, то мечта, что ты великан, — все это то мучило, то радовало, то успокаивало тебя и не давало возможности пройти хоть к возможному равновесию. Все смешивалось, и порой то одно, то другое чувство брало вверх, но такая напряженная жизнь, борьба с самим собой — сделала свое.

Я, по крайней мере, измучился и стал более спокойным, т. е. стал меньше, слабее чувствовать. Порой и теперь охватывает какое-л[ибо] одно чувство, но теперь у меня хватает сил не допустить до крайности, а это значит, прихожу в равновесие. Самое главное, это была во мне борьба двух чувств — личного и общественного.

Как бы то ни было, эти 2 чувства или чувство, разделенное в 2 стороны, в моем сознании брали вверх то одно, то другое, между

ними происходила борьба из-за ревности, из-за первенства, а потому что меня охватывало больше то одно, то другое. И как я ни старался убедить себя, я мог убедить не чувства свои, а ум только.

Я взялся за чтение, и я не мог не думать, это была правда, что это делаю для Вас больше, чем для дела, как ни старался урезонить себя, однако трудно повелевать и урезонить чувства таким образом.

Но вот я получаю письма, вести от тех, о которых я ничего не знал и от которых я не получал вестей, вести о жизни, о том, что дела нехороши. Вот это меня заставило совсем забыть о личном своем, и мне только хотелось туда, туда поскорей, за какую бы то ни было цену. Но и это улеглось, но оставило после себя то, что я стал ощущать, чувствовать, а не только понимать, что я должен заниматься, быть и здесь полезным и для дела тоже. Теперь слились чувства обществ[енное] и личное в одно – и покамест мы отдельно, чувствам этим не уменьшиться и не увеличиться одному на счет другого.(////////////////////////////////////) (зачеркнул, потому что сболтнул, наверное, неправду). Они слились и потому, что одно

поддерживает другое: личное общественное, а общественное поддерживает и в большей степени породило личное, и потому, что они теперь одинаковой напряженности. Раньше я думал, что слияние это уже произошло благодаря первой причине, и не мог понять, сознать хорошенько того, почему мне казалось, я чувствовал все-таки, что слияния этого не было. И не мог я тогда понять себя. Это удалось теперь только, когда я почувствовал, что это слияние произошло наконец, когда я стал больше чувствовать, а не только понимать, желать в сознании жизнь общественную.

Одно, что только теперь остается, это пересилить свое лентяйство, чтобы без усилий, без напряжения воли я всегда был за книгой. А это мне удастся, и как может не удаться, когда тот, кто дороже всех для меня, и то, что дороже всего — требуют от меня этого, и, не изменяя своему чувству, я не могу не заставлять себя больше работать умом, чем воображением. То, что я в Нолинске не работал, это была измена делу, ослабление чувства, но Вы снова меня пробудили, пробудили во мне чувство, и оно заставило меня заняться, иначе я в сущности не любил бы

Вас. Чувствую теперь, что буду усердно работать, а если не будет этого, если энергия упадет, то значит, я изменю Вам. Никогда, никогда не забывайте об этом. Раз чувство у меня сильно, сильная и воля моя. Могу заставить себя тогда быть таким, как надо. А раз ослабнет воля на более долгое время, то значит, я ни что иное, как мокрая тряпка летом на солнце. Но я буду заниматься, я и занимаюсь довольно усердно, хотя и не очень успешно, но это не портит моего настроения, быть умнее самого себя ведь трудно и нелепо, а знание приобретается постепенно. Если и плохо переварю и даже и совсем не удастся иногда понять, критически отнестись, то это неважно, а принесет ту услугу, что начнешь тогда [браться] за менее мудреные книжки, а потом со временем поймешь то, что теперь непонятно, туманно и неясно.

Но пора спать, 12 час[ов], завтра еще и послезавтра, 2 дня до почты. Сегодня писал критику, что такое прогресс. М[илля] прочел и написал только о первых 4 главах. Мне хотелось бы Вам послать, да так написал, что трудно читать, пришлось бы переписывать и немного обработать. Если хотите (мне

тоже хотелось бы знать Ваше мнение), то напишите, то я перепишу и пришлю, хотя это, признаться, прескучная работа.

Но я снова разбалтываюсь, нет, пане Ф[едоровна], пора кончать.

Спокойной ночи.

Вы, наверное, тоже собираетесь к Морфею, смотрите только, чтобы приснился хороший сон. Я, засыпая, постоянно это желаю сам себе. Во сне совсем забываешь иногда об окружающей обстановке, а потому он имеет особую прелесть. Всего хорошего.

В[аш] Ф[еликс]

До скорого, однако. Может, удастся и удрать отсюда без всяких унижений, по крайней мере А. И.

Завтра подробности.

9
Село Кайгородское.
31 января — 1 февраля 1899 г.

31/I.99

Мне снова с Вами хочется поговорить. Так в сущности, однако, чувствуешь себя, книги мне людей заменить не могут, а окружающие не удовлетворяют, что теперь одно только перо заменяет все, и кажется, что вот-вот Вы где-то близко и слышите меня, и понимаете, что мы живем общей жизнью. Ведь и с Вами было почти то же, что и со мной, только несколько иные причины. И Вам было то грустно, то тоскливо, то радость охватывала Вас, то снова некоторая неуверенность за будущее, то подъем сил, энергии, то снова некоторый упадок, я вижу это из Ваших писем — Вы только глубже и сильнее жили своей внутренней жизнью, сильнее чувствовали. Вы говорите, что боитесь, что мне не будут нравиться Ваши письма, что, право, пришло Вам в голову, зачем писать то,

чего быть не может, это может быть только тогда, когда я изменюсь или, вернее, мои чувства – иначе как мне не будут нравиться мысли, чувства того, который и ради них для меня так дорог. Одно, чем я недоволен, это тем, что Вы не признаете, что это можно требовать от другого, то надо и от себя потребовать. Я думаю о здоровье, тем более Вам не следовало до сих пор ничего мне не писать и не узнать, что могли от *меня* заразиться и притом трахомой, болезнью, которую легко излечить, захватив ее сразу. Нет, нехорошо, и я серьезно за это на Вас сердит. Однако думаю, что в понедельник этот я получу от Вас письмо об этом. Вообще с этим шутить нельзя. У меня ведь тоже глаза болят, и не люблю я с ними возиться, а должен, для работы они ведь еще нужны, и если придется возиться с ними тогда, когда всякая потерянная минута – преступление, то будет очень нехорошо. Тогда можно будет бравировать своим здоровьем, будет смысл в этом, а теперь нельзя – бессмысленно. Врач здешний, кажется, ни к черту не годится, что-то и мужики, и мы не очень доверяем ему – медным купоросом не хочет прижигать, а лечиться каплями и медленно, и исход сомни-

тельный. Завтра он нам даст свидетельства, что у нас глаза больны, и мы при жалобе к министру вручим эти свидетельства, хотя не знаем, что он в них напишет, так как он нас убеждал, что у нас нет трахомы, а что-то другое, хотя мы, кажется, его переубедили. А. И-ча, почти наверное, переведут отсюда, быть может, даже в Вятку. У него там нашлись какие-то влиятельные и даже очень родственники, которые пошли на приступ. Надо только жалобу написать со свидетельством врача. Я несколько сомневаюсь за исход, но А. И. уверен в успешности.

Вспомнился мне Н. со свом прошением. Как это глупо было с его стороны протестовать, прося о переводе в В[ятку], и удивляясь подобному произволу, основанному на интриге, точно тут дело идет об устранении недоразумения между равными. Протестом прошение такое только назвать можно, которое по содержанию есть плевок или требование, а никак, когда оно и по форме, и по содержанию есть только просьба, а прош[ение] Н. есть ничем иным, как этим только последним. Какое прошение, таков и ответ. Тогда имело бы смысл подобное прошение, если бы произвол не был бы интригой. Ведь

это даже в некоторой степени заискивание перед губ[ернатором]: ты, мол, в этом не виновен, а все это интриги местных, ты, мол, не такой, как местные, нельзя ли под твое крылышко попасть? Разве не этот смысл прошения, и перед кем вздумал Н. выводить полиц[ейских] начистоту: не перед их начальником? А если так, то незавидную он занял роль изобличителя (ведь не местные, в данном случае иное было бы дело). Если перед собой, то в таком представлении, унижающем совсем, не было нужды. Я не понимаю, как так рассудительный человек не мог этого понять, человек, который проповедует, что мы должны быть в глазах других людьми, полными достоинства (помните наш спор у П., не помню, были ли Вы тогда там и когда это было). Если некоторые думают, что результат достигнут, то они не ошибаются, если результатом считают то, что мы в глазах губ[ернатора] стали дураками, жалуясь губернатору на *местных* за *его* распоряжения. Если же другие думают, что это только вступление и что результата нет еще и что он последует, если все выступят на сцену в шутовских костюмах, то и они правы, если им хочется иметь результатом доставление гу-

б[ернатору] удовольствия иметь даровое представление шутов хуже, чем гороховых. Меня злят прямо подобные протесты. Уж лучше вовсе молчать. Вот к чему может привести *умом* предписанное собств[енное] достоинство. Вам может показаться, что я слишком злостно отношусь к человеку, который меня уважает. Для меня уважение таких лиц нуль, ни к чему меня не обязывает. Меня многие уважали за то, что меня не знали. Но я к ним презрение чувствовал. Может обязывать тебя, если ты сам кого уважаешь, а что тебя – это безразлично, и не можешь изменить чувства к человеку. И врать, и лгать, и говорить неправду, мне кажется, можно сколько душе заблагорассудится, раз это ни к чему дурному не влечет и раз человек не чувствует в каждом отдельном случае, что он не должен врать, что это бесчестно. Для меня не существует формулы абстрактной, так далекой от жизни настоящей: не ври, будь правдивым, всякая ложь есть нечестность. Я врал и очень врал, потому что я не мог изза агит[ационных] целей очень часто говорить правды, я врал сознательно, потому что не знал правды, а сказать что-ниб[удь] был должен из практич[еских] целей – не упасть

лицом в грязь, врал, чтобы позабавить, чтобы выставить себя иногда перед людьми, которых я не уважаю, более идеальным, я врал очень часто, потому что не умел молчать. Я правду говорил тоже часто, когда я чувствовал, что ложь будет подлостью конкретною. Я не предписывал себе никогда, в каких случаях я должен правдивым быть, а в каких я могу врать. Как одно, так и другое зависят от того, что ты за человек, в чем ты находишь удовольствие, как относишься к жизни, к другим людям — одним словом, зависит от всей нравственной сущности твоей, а не от того, что ты будешь признавать ту или иную формулу, предписывать чисто умственным путем правила своему отношению к людям. Раз я сознаю, что ложь вредна в данном случае, я не вру, потому что сознание этого вреда мне не позволяет. Но ведь что вредно и что нет, определятся моим складом нравственным, а никак не отвлеченной формулой. Но я повторяю ту же мысль, значит довольно с этим.

Вообще нравственность меня интересует, но только с одной стороны, а именно содержание нравственных понятий и причин этого содержания, а не то, почему у челове-

ка существует нравственная способность вообще, т. е. область уже физиологии и психологии. Меня интересует нравственность как социальное явление. С этой точки зрения нравственность есть продуктом общественного развития, развития общественных отношений людей, вытекающих из экономических отношений, которые в свою очередь зависят от развития производительных сил, технической формы этих сил. Это лишь взгляд a priori, вытекающий из всего моего мировоззрения, и теперь я хочу собрать материал, чтобы обосновать данный взгляд. Милль мне очень мало дал в этом отношении. Он, как Вы говорите, выставил принцип, но не доказал его. Нет, он даже не сумел и принципа-то выставить. «Принцип пользы» есть слишком туманен, он ничего не говорит собой, а то содержание, которое он в него вложил, есть фактически неверно, до сих пор не было (не считаю коммун[нистическую] эпоху) нравственных понятий, имеющих *фактически* в виду общую пользу, так как вся история — это классовая, сословная, расовая, половая борьба. А потому его принцип превращается в догму. Затем, даже если принимать нравст[венность] внутри какого-

н[ибудь] класса, какой-н[ибудь] тесно сплоченной солидарной группы, то и тогда данный принцип иногда не имел места. Иногда вследствие обществ[енных] условий какой-н[ибудь] класс в силу того, что иначе быть не может, признает за нравственное то, что ведет к гибели, и уж как не изловчаться в софизматике, однако нельзя свою пользу найти. Напр[имер], нравств[енное] понятие рабов, крестьян, рабочих на некоторой стадии их развития, что их эксплуатация и мучения есть вполне нравственны, что воля Бога такова, что иначе быть не может, что если бы он был богатым, паном, собственником, то он был бы таковым же. Если бы действительно польза, а не суровая для большинства необходимость, несущая за собой лишь только лишения и страдания (положим, с принципом пользы и тут, может быть, вывернуться можно было бы — ведь находятся виртуозы, видящие в страданиях масс их же пользу), определяли нравственные понятия, то уж давно бы общество перестало бы быть и даже не было бы классовым. Вера без дела мертва, или нравственные понятия без дела мертвы, или неприменение к делу отрицает, убивает сами эти понятия, а след[овательно],

раз данные понятия существовали бы, то они не были бы мертвы, т. е. они применялись бы к жизни. Если бы масса действительно сознавала свою пользу, то уничтожила бы то, что ей вред приносит, т. е. классовое господство, следов[ательно] уничтожило бы классовое подразделение общества. Но беда в том, что «не сознание людей определяет формы их бытия, но, наоборот, общественное бытие определяет формы их сознания». Вот исходя из этого положения, можно понять и нравственные явления. Утилитаризм я совсем отбросил, после Милля я выбросил даже то, в чем был сам до него убежден. Есть книга Летурно «Развитие нравственности» — я думаю как-ниб[ибудь] ее достать и заняться этим вопросом. Мне хотелось бы об этом толковей написать, да нет фактического материала. Вообще я наметил себе несколько вопросов, материал для которых буду собирать, чтобы потом попробовать написать что-л[ибо] самостоятельно. Эти вопросы следующие: 1) зависимость нравст[венности] от обществ[енных] отношений, 2) чьи интересы и как охраняются у нас теперь, 3) роль интеллигенции в культур[ном] и революц[ионном] движениях и что она из

себя представляет. Может быть, не удастся, потому что материалу мало, но что можно будет, то сделаю. Я сам не знаю, как заниматься, как будет лучше. Теперь я почти каждую книгу читаю с пером или помечаю главные мысли или пишу свой взгляд или же при чтении Маркса пишу вопросы, чтобы потом проверить себя. Чтение поэтому идет медленно, хотя, может быть, более интенсивно. Не знаю только, может быть, на времени теряю больше, чем на интенсивности выигрываю. Как Вам кажется лучше? Напишите всю правду, все, что думаете о моих взглядах, способ критиковать, стиль — одним словом, все впечатление, какое производит на Вас серьезное, что я пишу и писал Вам и товарищу.

Смотрите, пишите все, и если я Вам покажусь смешным где-ниб[удь], то пишите, я сам сознаю, что должен быть смешон там, где хочу сострить и казаться разбивающим в пух и прах — мне важно знать правду, потому что могу увлечься формой, не замечая или ее бессодержательности, или даже бессмыслицы и нелогичности. Я очень боюсь, что так и есть, но раз я буду знать, что именно так, а не иначе, то я могу еще исправиться, а ведь привыкнуть с толком писать может в будущности

очень пригодиться и в дни торжества и в дни невольного отдыха. Пишите потому об этом все. Раз напишите все, то я буду очень доволен, потому что знаю, что Вы пишите только то, что думаете действительно.

Но я увлекся, уже 3-й час.

Завтра отправляю. Дорогая, нам хорошо будет впереди, у нас много еще отрадного, а теперь сил, сил и сил только больше.

Т[вой] Ф[еликс].

Я очень доволен, что Вы теперь не будете так одиноки и мучиться своею замкнутостью. Ведь, в самом деле, Е. А. такая отзывчивая, что было бы с ней при ее энергии, если бы не семья. Кланяйтесь ей от меня и скажите, что я никогда не забуду ту доброту, которую она проявила ко мне, и считала меня лучшим, идеальным, чем это в действительности. Мне совестно, что я невольно выставил себя перед ней лучшим и в то же время грубым, черствым, неблагодарным, чем на самом деле, перед ней, которую во всяком случае уважал. Так грустно было читать ее слова, выражающие надежды на своих детей в том, что уже давно замерло на ее устах.

Сколько души и боли она вложила в эти слова. И мне кажется, что я своим отношением сильно увеличил эту боль Я хотел ей сердечное письмо написать, но не находил выражений или уж слишком зачерствел, или что-н[ибудь] другое не позволило мне.

1/II.99

Скоро почта пойдет, и я спешу страшно. Весь день прошел (теперь уже 9 часов), и не имел времени или, правильнее, отложил на вечер, а как раз вечером учительница здешняя у нас была и не дала писать. Утром читал до обеда, после же его часа 3 катался на лыжах с горы (прекрасное развлечение), а затем проболтал с учительницей, и так время прошло.

Последние дни я меньше стал заниматься, но это не беда, переутомился маленько и теперь позволяю себе несколько позабавиться катанием. Хотел бы Вам сказать о здешней учит[ельнице] что-либо, но право нечего. Младенец еще, и младенец, опасающийся шпионов. Где? В Кае! А потому боится с нами беседовать. Страху такого нагнали им всем здесь недавние переводы отсюда врача, учительниц, фельдшера. Одним

словом, и здесь разгром. И здесь убоялись призрака революции. Смешны же они и глупы. Сегодня получили свидетельства от доктора, и А. И. сегодня же высылает свое в Питер – надеется попасть даже в Вятку. В свидет[ельстве] мы больны, да не трахомой, а каким-то «фолликулярным воспалением соединительной оболочки век». Посмотрим, что из всего этого выйдет. Мне кажется, что содержанием всей этой канители будет минус 1 р. 60 к. из нашего кармана на марки.

Я Вам, кажется, обещал в позапрошлом письме поговорить о Вашем понимании альтруизма и эгоизма и о связи данных понятий с поступками и мотивами. Между этими последними есть огромная разница. Альтруизмом Вы называете любовь, сочувствие и сострадание к людям, т. е. чувство. Но Вы здесь забываете о том, что в понятии альтруизма заключается также и необходимость поступать согласно чувству, т. е. альтруизм есть живое чувство сострадания. Корнем всего, значит, здесь есть чувство, т. е. мотив. Всякое живое чувство проявляется в известных поступках, но не всегда, те же поступки суть следствия этого чувства.

Возьмем примером такой поступок, как спасение тонущего: один бросится, потому что он не может отнестись спокойно к страданиям тонущего, он альтруист; другой же бросится потому, чтобы медаль получить или из-за бравурства, из-за честолюбия, если люди на него смотрят — он *не* альтруист. Один и тот же поступок может вызываться самыми разнообразными мотивами в зависимости от того, какие ожидаются последствия от этого поступка. А один поступок может массу последствий самых разнообразных иметь, а потому и мотивы бывают самые разнообразные, начиная от высоко альтруистических до грубо эгоистических с массою переходных мотивов, относящихся ни к альтруистическим, ни к эгоистическим. Нельзя совершенно разграничить между собой альтруизм и эгоизм, провести между ними резкой демаркационной линии. Но как крайние члены, они очень между собой отличаются — именно какой мотив, какие чувства побуждают человека. Но общего между ними очень многое именно, люди поступают *всегда из себя*, как это очень хорошо высказал Милль. Другие этого не сознают, но нельзя же бессознатель-

ность считать выше сознательного отношения к своим поступкам. И в этом смысле они поступают из себя, можно сказать, что они делают *для себя*, для удовлетворения *своих* инстинктов, *своих* понятий долга, *своих* чувств и вообще удовлетворения своей натуры. Не надо думать, что люди сознают свои мотивы. Очень ведь часто приводится в доказательство того, что поступок данного человека альтруист[ический], потому что он не обдумывал его, что он сам не знает о причине его, что он иначе поступить не мог. Но тут происходит только недоразумение. Ведь что-ниб[удь] да должно быть в человеке, что заставило его так, а не иначе поступить и вообще поступать, должен же быть какой-ниб[удь], хотя и бессознательный, чисто инстинктивный мотив данного поступка. А ведь инстинктивной не только может быть любовь, но и честолюбие, и бравурство, и очень многие чувства, ничего общего с состраданием не имеющие. Вследствие этой, очень часто встречающейся инстинктивности мотива, люди не понимают настоящих причин своих поступков и приписывают это несчастному альтруизму, который, если бы имел бы своих небесных

и земских покровителей, то воззвал бы о мщении. Чтобы понять эти мотивы, необходимо поставить себя во всевозможные условия, и сопоставив поступки и условия их, можно тогда только говорить что-либо положительное о мотивах личности и кто он таков: альтруист или эгоист ли, или ни то, ни другое.

Я высказал свой взгляд и уж расписался слишком, должно быть, этот вопрос уж можно считать поконченным, тем более, что о нем столь много говорилось — уж до пресыщения. Но я написал не то, что хотел, я написал свой взгляд, а не говорил о Вашем. Но сегодня уже поздно. Если Вам это не скучно, то я напишу другой раз, напишите только.

Заниматься одному, однако, прескверно. В сущности, и я это на себе сознаю. В обществе умных я чувствую себя глупее, а здесь мне кажется, что я в месяц подрос, и это признак того, что, в сущности, мое развитие слабо подвигается вперед и что, могу согласиться, [является] односторонним. Но поможете Вы мне в этом; односторонность, если она есть, Вы заметите, а если придется Вам что-ниб[удь] подробно выяс-

нить, то ведь у Вас есть больше единиц мыслящих, чем в Кае.

Но надо на почту тащить уже. Ожидаю завтра утром письма Вашего. Как-то Вам живется там в светелке.

Л[юбящий] В[ас] Ф[еликс]

10

Село Кайгородское. 6 февраля 1899 г.

6/II

Письмо Ваше пришло распечатано.

Добились своего, но я подписку дать отказался, никогда они от меня не получат ее — пусть будет еще хуже, но добровольно согласия на контроль своих мыслей, своей совести я не могу, не хочу и не дам.

Распечатали письмо Ваше раньше, чем меня известили. Я без содрогания не могу думать, что они прочли его. Писать теперь буду очень редко и, если что не выяснилось, то так надо и оставить. 20 февраля меня отвезут в Слободской освидетельствовать, годен ли на военную службу, но служить придется после ссылки.

Посылаю в Сенат жалобу и прошу разъяснить мне закон.

Ф[еликс] Д[зержинский].

11
Село Кайгородское. 11 февраля 1899 г.

11/II

Ваш проект мне очень нравится, я хотел бы, я жажду, чтобы он мог исполниться, чтобы ничто ему не мешало, чтобы исполнение его было с пользой для обоих. Но чтобы решиться на него, много надо холодно рассудить, не надо с ним спешить, потому что это шаг, который потом уж вернуть нельзя будет. Я боюсь, что можно поступить под влиянием минуты, это есть желание, желание страстное, но надо решиться тогда, когда оно слабее, не так интенсивно, т. е. когда вполне беспристрастно можно разобрать и «за» и «против». Ведь перед нами тут 2 года, и за ними еще много, много хорошего. Жизнь наша начнется тогда только в полной силе. Эти 2 года должны быть пробой, искуплением нашим. Они должны показать, что мы действительно работу ставим выше личности, они должны оправдать, усилить то, что слу-

чилось с нами за последнее время. И только тогда, когда мы будем ясно сознавать, что мы действительно таковы, т. е. если в продолжении некоторого времени мы усердно позаймемся и будем знать, вместе ли мы или врозь, а сознание, потребность в занятии и будет сильнее всего, тогда можно спокойно решиться, тогда не только желание, но и рассудок и сознание нашей будущности будут удовлетворены, тогда одно будет усиливать другое и будем успешнее всего работать. Вы ведь знаете меня, ведь, право, теперь я не могу сказать о себе, что теперь исполнение нашей мечты мне не помешает. Я за себя не уверен, я не испытал еще хорошенько себя, для меня занятия обязанность еще, а не потребность, нет, теперь я не имел бы сил не отдаться чисто личному, или лучше, я не отдался бы, но неудовлетворенность не позволила бы мне заниматься, она ослабила бы мою волю, а не усилила бы ее. Я отвечу Вам через 2 месяца. Необходим этот срок, он может даже слишком мал, но я себя пойму, и Вы поймете тоже себя. Ведь нельзя под влиянием только желания решиться. Ведь то, что мы думали, будучи еще в Нол[инске] и сначала, ведь так должно быть. Когда Вы писали мне,

что Вы веселы, я отлично понимал, что должна наступить реакция. Но зачем ей быть такой сильной, разве можно позволить себе. Это все делает Тургенев, и как бы Вы его не хвалили, я ненавижу его за то, что под его влиянием человек начинает жить больше созерцанием, чем борьбой. Я ненавижу созерцание, раз оно им только останется, оно ослабляет человека, оно дает ему ложное представление о жизни, оно научает ценить, уважать красивое, но не дает сил самому участвовать в этом красивом, быть частицей его. Ведь все, что красиво по своему содержанию, то живо. Я ненавижу повести, романы, одним словом, дающие так наз[ываемое] у нас эстетическое наслаждение. Они ведь вызывают известные мысли, чувства эстетические, и сознание и наличность этих чувств дают человеку наслаждение. Наслаждение тем, что в человеке есть это чувство. Оно само по себе дает удовлетворение и потому не позволяет человеку видеть, испытать настоящего чувства красоты. Под таковым я понимаю такое, которое плодовито, которое проявляется не в наслаждении (пассивной роли), а в борьбе (активной роли), такое, которое дает не удовлетворенность, а,

наоборот, неудовлетворенность или жизнью или самим собой. Оно тогда может принести огромную пользу, когда, возбудив чувство красоты, не лишает его сознания всей гадости жизни и самого себя и когда эту противоположность усиливает до такой степени, что человек борется с жизненной и своей личной низостью. Бросьте Тургенева! Если бы мог бы, стер бы я его с лица земли, чтобы и помину его не было. Он оперирует над чувствами и только над ними. Он учит только созерцать, а не бороться, он учит плакать, а не проклинать, он учит восхищаться, а не восхищать себя, любить, а не жаждать, не любить, а не ненавидеть, он возвышает чувство, а не действие, душу, а не проявление ее! Прочь с ним!

У кого есть эстетическое чувство, то и без Тургенева можно найти пищу в жизни, в окружающей обстановке, в себе, в идее. Я никогда не любил беллетристику, потому что жить я раньше начал, я довольно находил удовлетворения в жизни, и если приходилось и приходится отдаться только созерцанию, то самосозерцанию, но оно отчасти было борьбой и отчасти только созерцанием. Вы это поняли, как писали мне, что это

может только обессилить. Я подслушивал в себе всякое чувство, я рылся в себе. Во мне наступал перелом, я определялся. Я не мог не рыться, ведь это копание в себе было отражением в моей психике, в моем сознании борьбы двух начал. Но бог с этим. Довольно!

Мне было очень неприятно, что Вы поддались некоторое время так сильно только чувству до такой степени, что не могли заниматься, но это пройдет. Я не только верю этому, но я уверен. Я знаю Вас, знаю, как глубоко Вы чувствуете и как глубоко чувство может Вас охватить. Но ведь не одно же чувство есть, есть два коренные: чувство личное и основа, поддержка его – общественное. То другое должно дать знать о себе, и тогда наступит равновесие, тогда и занятия пойдут, и сила воли усилится, и будущее выступит как не что-то туманное, абстрактное, а что-то конкретное, ощутительное. Тогда и спокойствие наступит, и тогда только можно решиться постараться исполнить нашу мысль. Тогда мы оправдаем себя. А ведь долго ждать не придется. Но еще следует обождать. А теперь заниматься. Вы верно пишете, что если мы теперь не возьмем себя в ежовые рукавицы, то неизвестно что может выйти, тогда

окажется, что никуда не годимся. Но Вы ошибаетесь, думая, что теперь занятия вместе могут пойти. Я уважаю себя постольку, поскольку сила, усердие исходят из меня, из чувства, находящегося во мне и имеющего большую силу. Чем сильнее чувство, тем сильнее воля! Это так. Но какое чувство? Не всякое. Иное, наоборот, чем сильнее, тем более ослабевает волю. Это зависит от направления чувства и от того, какое должно быть направление воли. В последние дни в Нол[инске] воля моя неожиданно сделалась слабее, напр[имер], по отношению к занятиям. Мы можем допустить только такое чувство, которое больше усиливает нашу волю, чем ослабевает. Одно и то же чувство может и вызывает и то и другое — зависит все от напряженности того, что вызывается им. Это же определиться может только, когда мы не вместе, и тем более это важно, что разлука может только усилить ту сторону, которая должна быть сильнее, т. е. мы должны втянуться в занятия, занятия должны сделаться необходимой потребностью. Я так смотрю на это. Подумайте хорошенько, не прав ли я? Многого, конечно, не станешь писать, но Вы ведь поймете меня и не объясните ложно.

12
Село Кайгородское. 13 февраля 1899 г.

13/II

Вчера получил Ваше письмо, и его читали. Спешу ответить и, если удастся, успокоить. Может быть, удастся это письмо отправить так, чтобы не прочли. Но об этом потом.

Сколько грусти и щемящей тоски в Вашем письме, как не удовлетворена душа Ваша, я знаю и чувствую, что и я не в состоянии был бы никогда перенести такой борьбы. Как больно Вам должно быть, когда Вы мне даже не можете писать. Вам не по силам спокойно даже самой думать, что с Вами. Снова сомнения вкрались, снова неуверенность о будущности. Подъем перешел в спокойное, тихое, ненавистное для меня состояние, и теперь снова борьба, снова мучения, снова неудовлетворенность и такая тягостная, такая сильная, напряженная, что кажется Вам, что все готово рухнуть. Нет, нет и

сто раз нет. И тогда только откажусь от этого нет, когда кто-либо из нас действительно не выдержит этой борьбы, не будет мучиться, перестанет сомневаться в своей годности, перестанет совсем заниматься, т. е. действительно бороться. Посмотрите только, что за обстановка у нас, кругом нас и далеко от нас, где мы выросли, где столько оставили и столько работы еще впереди есть. Подумайте только, как далеки мы от таких, какими мы должны быть, потому что желаем. Подумайте только, что чувство тогда только живо, действительно сильно, когда пища ему есть, когда оно применяется к делу. Наши чувства не могут быть теперь совсем удовлетворены, ведь в жизни мы не слились еще в деле, а только в идее, в чувстве. Оттуда же может быть удовлетворение, откуда может быть спокойствие. Я рад, я даже страшно рад, что время Вашего спокойствия так коротко было, что иллюзия, абстракция не могло побороть в Вас ту жизненную силу, то стремление быть вечно недовольной безжизненностью, спячкой. Одного боюсь только страшно, но Вы это пересилите, – что недовольство жизнью теперешней у Вас так уже сильно и напряженно, что не дает Вам но-

вых сил и отнимает даже те, которые у Вас есть. Если это так, то я готов проклять себя за то, что открылся перед Вами, что вовремя, когда мог и когда не было еще поздно, не оборвал всего, ведь я причиной отчасти, что возбудил такую душевную муку. Но нет, этого не будет, я знаю Вас, что сил Вам хватит, что потому только так тяжко Вам теперь, что в Вас вкрались сомнения о будущем и вкрались как-то рантом, что Вам трудно и невозможно совладать с ними. Вы яснее увидели, сознали будущую работу, Вы яснее поняли, что до тех пор наши чувства личные не будут ни капельки удовлетворены, покамест не сольемся в деле, и все это так Вас охватило, что ничему другому места не осталось, конечно, надо, чтобы это все уложилось, чтобы какое-либо одно чувство взяло перевес, и тогда оно заставит работать, тогда это чувство проявится в деле. Я спокоен за Вас так, как за себя. Меня радует, что мы похожее переживаем, что мы можем потому понять друг друга, поддержать. Я рад, что буря хотя и мучительная налетела на Вас, она и только она может выработать человека и направить его к делу, показать ему пищу для своей души и открыть весь смысл жизни. Именно,

жить так, чтобы чувство пищу имело, именно работать, бороться в деле, делом. Всякое спокойствие, затишье, гармония душевная, если они продолжительное время овладевают человеком, портят его, научают наслаждаться не самой жизнью, делом, но мыслью о нем, мысль тогда переходит мало-помалу во что-то совсем заменяющее жизнь, начинает вполне удовлетворять человека и тем самым делает его неспособным жаждать самой жизни, т. е. жить, делает и мысль, и чувство свои *неплодовитыми*, они начинают удовлетворять сами по себе, вне отношения к борьбе, жизни. Всякое *сильное* чувство не может удовлетворяться такой ролью самонаслаждения, потому что без борьбы оно не может быть удовлетворено при наших условиях. Любить — это значит чего-то страшно жаждать, чего — это зависит от всего нравственного склада человека. Любить для нас это значит вместе работать, вечно вместе стремиться и бороться за лучше дни, бороться со всем тем злом, которое гнетет, подавляет души и дела наши, не позволят нам ни минуты быть веселыми и спокойными. Мы проснулись, нас чувство подняло, встряхнуло. И если оно действительно сильно, если

мы не ошиблись в своих чувствах, если оно действительно есть, то оно должно проявиться и проявится именно в борьбе с самим собой, в более энергичном занятии, в том, что то, с чем мы до некоторой степени свыклись, сделалось нам более противным, чем то, что мы делали от скуки за неимением чего-л[ибо] иного для препровождения времени, — именно чтение — поставили теперь в центр нашего пребывания в ссылке и стараемся всеми силами преодолеть и леность свою, и отнимающую всю силу неудовлетворенность, и направить эту последнюю на то, что мы можем здесь сделать. И со мной далеко еще не так есть, но я знаю, что раз чувство мое действительно сильно в том направлении, в каком оно должно быть, раз я полюбил всей душой Вас своей, то я буду победителем, а ведь мне многое, многое приходится преодолеть, с очень многим бороться, с такими гадкими и сильно укоренившими во мне чертами, с которыми Вы знакомы только теоретически. Вам легче бороться, Вы и чувствовать умеете сильнее, глубже, и Вы более постоянны, у Вас нет прирожденной лености.

Нет, я убежден, что теперь, когда я пишу Вам это письмо, хотя и грустно, и невесело,

и тяжело Вам, однако сознание о будущем дало Вам силы взять себя в руки. Милая моя, разве то, что я так страстно, истинно полюбил Вас, то, что никого, кажется, не хотелось бы видеть так высоко стоящим, как Вы, то, что чувство это меня подымает, делает сильнее и заставляет вечно думать о борьбе вместе с Вами – разве чувство это пробудило во мне сознание всего дурного в себе, разве это может хоть сколько-ниб[удь] ослабить Вас, дать ничего больше, как только или веселость, или только опасение, что все это может рухнуть.

Вы не поняли письма моего, иначе Вы не написали бы: «Наши отношения непрочны». Как тяжело и больно было читать это и зачем думать о том, что *возможно* в будущем. Все возможно. Возможно, что кто-ниб[удь] из нас в ссылке *может* заболеть и ноги протянет. Нельзя же ведь в жизнь свою вводить область только возможного и грызть себя тем, мучить. Почему же непрочны. Нет, не хочу и думать об этом. Так дикой теперь кажется мне эта мысль. Помните только, что я тут никогда не совру и что бы ни было, я напишу сейчас же, раз это может хоть сколько-нибудь пошатнуть наше взаимное доверие,

нашу душевную близость, наши отношения. Но если и Вы всегда будете откровенны, то зачем, зачем теперь волноваться этим, строить такие предчувствия, которые ничего кроме плохого принести не могут.

Спокойно ночи, дорогая. Спите хорошо. Как хотелось бы на минуту заглянуть в Вашу светелку. Будьте бодры.

13
Село Кайгородское. 14 февраля 1899 г.

14/II

Думал, что сегодня удастся ехать в Слободской одному без урядника, но сегодня не удалось. Не мог еще получить билета на проезд. Надеюсь, что завтра удастся. А славно было бы побыть в Сл[ободском] пару дней, послушать людей, проверить хоть насколько успех своих занятий, запастись книгами, несколько освежиться от здешней кайской мертвечины, а потом снова взяться за занятия. Я не могу похвастаться, что до сих пор много сделал, нет, но это не беда. Я, однако, заставлял себя сидеть за книгой долго, читать одно и то же до тех пор, покамест не пойму. А если не удавалось иногда понимать из Маркса, Булгакова, Зомбарта («Науч[ного] об[озрения]»), Маслова, то заметил себе это и теперь в Сл[ободском] постараюсь себе уяснить. Я доволен и недоволен собою. Как бы ни мал был все-таки про-

гресс, все-таки теперь я сильней себя чувствую, и если бы не это проклятое распоряжение о просмотре писем, то я чувствовал бы себя хотя грустно, но бодро совсем. Я буду таким, каким мне и Вам этого хочется. Конечно, переменить себя невозможно, невозможно будет, чтобы я переродился, чтобы все то, что было дурного и несимпатичного, чтобы все это улетучилось, но я достигну того, что буду усердно заниматься, а это очень много.

Но довольно, так много я говорил уже и говорю о себе, что наверно на тысячу ладов повторяю то же, а потому должно быть скучно.

Я излил, кажется, всю душу пред Вами, кажется, ничего в сомнении быть не может, однако друг друга узнать можно только в жизни, видя, как реагирует человек на известные жизненные явления делом, а не мыслью, словом, сознанием. Но ведь что будет, то будет. Я одно теперь сознаю, это то, что Вас и дело я наравне люблю, через дело в деле, борьбой мы сольемся — будущность — мечта наша это видеть друг друга всегда самыми близкими, настолько сильны чувства наши, товарищами в борьбе, в жизни, в поддержке друг

друга, а теперь чувствовать душой, что цель, дорога, будущность, мысли, чувства наши — одни и те же, что никто из нас не изменит себе, и только еще сил немного, немного времени, и то, что теперь нам может помогать, вскоре нам нужно будет исполнить.

Я свято убежден, что действительно скоро нам нужно будет даже быть, работать и бороться вместе с самими собой. С полной неудовлетворенностью, которая вконец может отнять все силы у человека и сделать его ходячим трупом. Не предавайтесь только, дорогая, так сильно печальным мыслям. Вспомните только то, что Вы мне сами писали в одном из писем, говоря, что только усердные занятия могут послужить противовесом «тоске». А ведь на Вас она напала, она овладела и Вами. Еще немного, и все, что только мы можем желать теперь здесь, в ссылке, мы достигнем. Ведь не надо таких сомнений, не надо таких мыслей. Они ничего не могут оставить после себя, как только горечь, апатию. Все ведь это уже прошло, наверное, не правда ли? А я так расписался, как будто Вы иначе думаете. Пишите. Пишите только в нескольких словах, что это с Вами было? (Читают письма наши.)

Глаза мои что-то начинают болеть, писать больше не могу. Может потому, что в бане был и голова болит. Слушайте, и я все-таки до сих пор не дождался ни слова от Вас о глазах. Вы обещали 1/II сходить и ничего не пишете. Стыдно Вам, что не исполнили слова своего.

14
Село Слободское. 18 февраля 1899 г.

18/II

15-го утром я уехал из Кая, и теперь из Слободского посылаю Вам открытку. Времени совсем нет. Надо книгами и съест[ными] припасами запастись Хорошо в солдаты совсем меня не возьмут, но доктора признают что-то вроде чахотки. Жизнь моя коротка, и сколько муки в сущности теперь сознавать, что столько горя потому я должен причинить. Моя жизнь коротка, а потому с ней не должна и нельзя, чтобы другая была с ней увязана. Нет, это страшно больно, нет, мы будем жить одной душой, хотя, должно быть, никогда нам видеться не придется. Я постараюсь устроить свою жизнь короткую так, чтобы пожить ею наиболее интенсивно. Мне кажется, что теперь я не отступлюсь, и, право, не отговаривайте меня, не отнимайте у меня надежды хоть сколько и как-ниб[удь] пожить. Я не могу теперь спокойно писать,

потому что нахожусь под впечатлением, но уж должно быть не уляжется оно. Трудно же себя обманывать, не верить врачу. Не волнуйтесь только, и пусть это не отымает сил ваших, они нужны будут и чтобы поработать за себя и в память за меня. Мне легче будет, тысячу раз легче, когда я буду знать, что то, что мы полюбили себя, нас побуждает к делу, усиливает нашу жажду ею и, что бы с нами ни было, уйдет ли кто в могилу преждевременно, все-таки другой не перестанет работать, то есть любить его. Ради всего на свете, что нам дорого и свято, ради чувств наших, не волнуйтесь, дорогая. Как хотелось бы хоть раз все завещать Вам, что живет в моей душе.

В[аш] Ф[еликс].

P.S. Не думайте, что я уж сильно болен, нет. Нет. С грудью, правда, в Кае совсем дрянь дело, с глазами тоже, но вне Кая можно еще, должно долго прожить.

Губерн[атор], по всей вероятности, не переведет никуда, разве только еще дальше.

15
Село Слободское. 19 февраля 1899 г.

19/II

Сегодня я получил письмо твое, дорогая, и скорбь моя улеглась. Я хотел порвать то, что вчера написал, но я это действительно переживал. Для меня лично действительно будущность уж никогда не может быть ясной, но я одумался от своих просчетов. Я буду жить в Кае и оттуда могу сделать больше, чем исполню свое желание. Я этим лично удовлетворен не буду, но не исполню то, что должен и что могу.

Жизнь моя будет сносна. Я буду сознавать, чтоб как бы то ни было, а все ж таки буду полезен. Я буду чувствовать, что хоть и много, много боли принесет с собой эти письмо, однако оно же побудит несколько к борьбе, к отречению самого себя, всего личного, — столь шаткого, что с исключением всего, что только нас касается, с уничтожением «личного счастья» останется одно чув-

ство бороться за двоих, предаться только работе до тех пор, пока не придет время на вечный покой. Не хочу обманывать. Нам не придется жить вместе, чтоб вместе же работать, пока я в Кае. У меня трахома и все сильней, полнейшее малокровье (распухание желез от этого), эмфизема легких, хронический катар ветвей дыхательного горла. В Кае от этого не излечишься. Проситься же униженно не буду, а иначе не переведут. Скажите мне, что может дать в таких условиях, что будем вместе. Личная неудовлетворенность закроет нас, силы наши будут все слабей. Нет, нельзя и нельзя. Если через год или сколько меня переведут в город, тогда, о, тогда мы поживем хоть сколько-ниб[удь] среди общества, не так, как в Кае, сам не сам. Я все сделаю возможное, чтобы только перевели, все, не унижающее.

Зачем я пишу это, я знаю, чувствую, сколько муки смертельной я причиняю этим, но ведь я не умею, право, не высказать того, что так волнует меня. Нет, родная, друг мой, дорогой мой друг, ты перенесешь это, это больно, страшно, больно будет, но победишь. И если действительно окажется, что чувства наши сильны, что действительно мы любим

не тело, а душу, что заветные думы наши общи, что мы одно, о, тогда какое облегчение, какая тяжесть ужасная, гнетущая меня теперь, спадет, тогда я помирюсь со всем, я буду жить тобой. Что было бы со мной, не встреться мы, особенно теперь, когда будущность закрыта для меня. Нет, лучше все узнать сразу, поэтому я написал и не порвал.

Я должен кончать. Одно еще, ведь это последняя будет борьба с собой, кончено, только, милая, если победа теперь будет, то мы еще ближе сольемся, то уж сомневаться потом нельзя будет, то действительно окажется, что жизнь наша есть страдания и борьба, что все то, из-за чего мы так сильно сблизились, не было самообманом. Тогда, если и удастся мне еще пожить хоть сколько-ниб[удь] борьбой, то она уж, наверное, будет совместной, и тогда мы будем счастливы. Если же не так будет, если что сломает, то пусть будет порвано все то, что между нами завязалось, легче мне будет сознать, что испортил всю жизнь, сделал совсем несчастной, чем сознать, что все, чем мы оправдывали чувства наши, объяснили их, что все это выдумка бессознательная, идеальная, и поддерживать их, сознавая это. Но не быть

этому. Нет, так не будет. Чувство твое сильно и глубоко. В нем больше чистоты, чем в моем. Дороги наши будут одни, моя только короче. Будем вечно друзьями, самыми близкими, вечно будем поддерживать друг друга, вечно будем жить вместе; что значит смерть, разве уничтожит она меня. Ведь я буду жить, покамест душа твоя не забудет меня. Чувства наши, борьба и все то, чем дорожила ты во мне.

Прощай же, дорогая, сил нет писать больше, все в голове ходит кругом, измучен я теперь дорогой, бессонными ночами. Уже 4-й час ночи, а завтра утром рано надо вставать и уезжать отсюда. Дорогая, будь же сильна. Ведь еще, быть может, 2–3 года еще у меня впереди. Проживем хоть это время спокойно, работая сколько можно, чтобы все, все, что лучшего есть во мне, чтобы все это я оставил после себя, чтобы не погиб же я совсем. Ох, как это горько, больно, невыносимо было такое сознание. Жил и ничего не сделал, ничего не принес с собой, кроме горя. Этого быть не может. Ведь любишь же меня – уж это успокаивает меня. Я оставлю себя и не исчезну бесследно. После меня будет заместитель, который целью всей своей

жизни поставит работу, ведь личное совсем тогда исчезнет. Я спокоен, я уверен, что все это еще больше усилит нас, а особенно тебя. Об одном прошу, если сорвется когда-н[ибудь] просьба с уст моих приехать ко мне, если ослабну в этой борьбе, поддамся, то показать, что только лучшее и более сильное во мне, столь дороги, а никак не слабость.

Крепко, крепко обнимаю тебя.

Твой Ф[еликс].

16
Село Кайгородское. 15 марта 1899 г.

15 марта

Наконец-то дождался письма твоего. Какой дурак я, что такое письмо написал. Мне тяжко тогда было — под впечатлением минуты всякую глупость могу сделать, это моя черта вообще. Здешний врач уверяет меня, что никакой эмфиземы и катара нет, что это выдумка, чтобы не приняли меня в солдаты как бунтовщика. Как я рад, я снова бодр, и если еще опасаешься хоть сколько-нибудь за мое здоровье, то теперь вполне будь уверена, что физически я здоров и ничто мне не угрожает в близком будущем. Я совсем не надеюсь, чтобы перевели меня. Как трудно будет здесь жить тебе, особенно когда и у тебя легкие не совсем в порядке. Здесь нет общества — слабый отголосок от жизни, а я, я — боюсь за себя. Не знаю, что это со мною делается, я стал злее, раздражителен до безобразия, до мелочности. Боюсь, что быть

может не дам того, на что ты надеешься и что я должен дать, и чем могу отравить твою жизнь. Нет, этого не будет. Я ведь люблю тебя, не может быть, чтобы это не подняло меня и не успокоило наболевшую, озлобленную душу. Сомневаюсь только, чтобы губ[ернатор] разрешил, но в таком случае можно будет заставить его.

Я определеннее смотрю теперь на будущее. В занятия, кажется, я немного втянулся, хотя до систематического мышления еще далеко, я вечно останусь дилетантом, в этом я уверен. Писать сам теперь не буду, надо сначала знания, а потом уже можно писать, чтобы хоть какое-нибудь значение имело. Я в писаки и ученые не гожусь, я и с крестьянами о том, о сем поговорить не умею, а также и с рабочими, я только агитатор своей идеи, и ее я ясно сознаю, я в вопросах практических, мне кажется, ясно разбираюсь, и я вечно останусь таким. Я вижу темные стороны жизни, сознаю, ощущаю их, они меня давят и побуждают вечно, где только можно, проповедовать свою веру. Надо, прежде всего, быть знакомым с тем, против [чего] борешься, наш строй во всех его мелочах, во всех его деталях для меня неясен, и вот я думаю

прежде всего взяться за изучение его, за него и законы, учреждения, банки, синдикаты, самоуправление и т. д. И это должно быть важнее всего. Газеты, журналы — вот главное.

Зачем ты пишешь, что я идеализирую тебя? Я знаю, что всеискупляющее, воскрешающее чувство любви уже пробудило и пробудит в тебе те черты, которые не могли еще проявиться в жизни за недостатком пищи — знания жизни и сильного чувства. Ведь за что ты так полюбила меня, как не за ту жажду жизни, дела, которые ты увидела во мне. Разве любить — это значит жаждать только быть вместе, видеть друг друга, чувствовать близко? Нет, никогда. У нас не только это есть, у нас есть больше. Любить — это значит для нас слиться душой, взять у другого все лучшее, пробудиться к жизни. Во мне жизнь пробуждается с ее бурями и затишьем, и если это отражение так нравится тебе, то неужели жизнь сама не увлечет тебя? Как хотелось бы мне ею пожить с тобой, показать, что в ней только и возможно жить, удовлетворить себя хоть отчасти.

Ты писала, что мысли о будущем тревожат тебя, что боишься, будешь ли такой, какой хочешь быть, что личное всегда будет

сильнее обществен[ного]. Это последнее, мне кажется, верно, но ведь чувство это жизни мешать не может и не будет. Любовь усилит в тебе жизненную энергию и активность, потому что откроет всю прелесть борьбы. Почему ты не прислала карточку так, какой она вышла. Теперь присылать через полицию, конечно, не стоит.

Привет П-им. Как здоровье С. А.? А. И. болен инфлюэнцией, в больнице даже 3 дня лежал.

Чем я выдавал себя в открытке?

Проклятое расстояние!

Прощай, дорогая, крепко обнимаю тебя.

Т[вой] Ф[еликс].

До скорого, приезжай, голубушка!

17
Кайгородское. 26 апреля 1899 г.

26 апр. 99 г.

Не писал так долго, потому что и денег не имел, и не мог понять, что со мной. Новые сомнения снова овладели мной. Снова выступает вопрос: да разве я лично счастлив быть могу, разве могу дать кому что-либо кроме одних только огорчений, разве я могу долго при бездействии, когда сам недоволен собой, дружно жить с кем-нибудь? Хотя бы с Ал. И. И я теперь почти не разговариваю. Заговорим о выеденном яйце, а смотришь — уже ругаешься, и тон всему этому задаю я. Безделье меня мучит и делает каким-то злостным, не могущим воздержать себя, ни дневная сутолока, ни чтение не могут меня привести в равновесие. Я сделался живым трупом, от которого уже несет разложением. Теперь я увлекся страшно охотой и в нее, должно быть, вложу всю свою свободную энергию. И что всего хуже — я падаю в своих

соб[ственных] глазах — я сам вижу, сознаю разложение, и не знаю, чем все это кончится. Ты видишь во мне фанатика дела, и это тебе больше всего нравится, а между тем я просто жалкий мальчуган. Да нельзя ни за что, чтобы ты на все время приехала ко мне. Я могу совсем разбить твою жизнь и тем разобью окончательно и свою собственную. Венчаться тоже, по-моему, надо будет избегать всеми силами. Ведь мы никогда не должны быть мужем и женой, зачем же связывать себя, зачем ограничивать свою свободу и самому сознательно усиливать искушение и тем ослаблять свои уже надорванные силы. Я ведь сам первый предложил о венчании. Но теперь, когда я чувствую себя так[им] слабым и бессильным, мысль эта меня пугает. Ведь не все время дух наш будет приподнят и может согрешить, а искупиться нельзя будет. Нет, нельзя, чтобы ты на все время ко мне приезжала. Нельзя нам теперь, когда нет у нас дела, венчаться. Дорогая, ведь Кай — это такая берлога, что минутами невозможно устоять не только против тоски, но даже и отчаяния. Все это минутами, правда, но в эти минуты можно наделать столько глупостей, что они портят всю жизнь. Мы можем

устроить только свидание, пожить друг с другом месяц какой, узнать хорошенько себя, убедиться, что нам не хватает только дела. Как кончится наш срок, как убедимся, что работа обществен[ная] для нас выше всего, что мы годны к ней, что чувства наши сильны, что они не есть плод безделья, тогда мы только будем иметь право устроить и свою личную жизнь.

Начало [письма] подмокло, и многого нельзя было разобрать. Я не понял, что с Розенблюмом и о ком-то из Минска, вообще не знаю, что ты писала о моей стороне!

Твой Ф[еликс].

Пиши больше о себе: настроение, мысли, здоровье.

18
Седлецкая тюрьма. После 27 мая 1901 г.

Дорогая Маргарита Федоровна!

Совсем неожиданно получил я Вашу телеграмму здесь, в Седлецкой тюрьме. И, право, она меня встревожила, так как свиданий мы никаких получить не можем и не должны даже просить, так как это сопряжено теперь [с] особенными условиями, о которых я Вас впоследствии уведомлю. И мне теперь писать трудно больше, я ожидаю Ваше письмо и тогда подробно о себе отвечу Вам. Но о прошлом я хочу забыть — теперь жизнь моя сложилась так, что я буду или вечный бродяга, или же буду прозябать где-нибудь в Жиганске или Колымске.

Откуда Вы узнали про меня. От Величкина, должно быть.

Теперь я уже 19 месяцев в тюрьме и чувствую себя не особенно-то прекрасно, но все-

таки лучше, чем в Кае. Я отчасти ненавижу свою первую ссылку. Не обижайтесь на меня за такое письмо, но не могу писать.

Ф. Дзержинский

P.S. Отвечу Вам подробно, как получу Ваше письмо.

19
Седлецкая тюрьма. 27 ноября 1901 г.

27 ноября

Сегодня я получил Ваше письмо.

Я Вам писал уже раз в Самару до востребования после того, как получил Вашу телеграмму. Я за это время, которое прошло после последней нашей встречи, решительно изменился и теперь не нахожу в себе того, что некогда было во мне и осталось только воспоминание, которое мучит меня. Я за это время изменился, и случилось со мной то, что почти со всяким часто случается, но о чем писать при моих условиях несколько неудобно. Прошло с тех пор уже почти 3 года, полгода жил полной грудью, и лично о себе мне приходилось мало думать; когда же попал в тюрьму и больше года был абсолютно отрезан от внешнего мира, от друзей и знакомых, а потом сразу попал в довольно свободные условия заключения, и связи мои с товарищами и внешним миром возобнови-

лись, и я получил свидание — тогда все во мне изменилось, тогда я стал жить и живу теперь и личной жизнью, которая никогда хотя не будет полна и удовлетворенная, но все-таки необходима. Мне кажется, Вы поймете меня, и нам, право, лучше вовсе не стоит переписываться, это только будет раздражать и Вас, и меня. Я теперь на днях тем более еду в Сибирь на 5 лет, и значит, нам не придется и встретиться в жизни никогда. Я — бродяга, а с бродягой подружить — беду нажить. И мне хотелось бы знать, что слышно с Вами, как живете, но я не имею права просить Вас писать ко мне, да и не хочу. Прошу Вас, не пишите вовсе ко мне; это было бы слишком неприятно и для Вас, и для меня, и я потому прошу об этом, что, как Вы пишете, Ваше отношение ко мне нисколько не изменились, а нужно, чтобы оно изменилось, и только тогда мы могли бы быть друзьями. Теперь же это невозможно.

А затем будьте здоровы, махните рукой на старое и припомните те мои слова о том, что жить можно только настоящим, а прошлое это дым.

Еще раз будьте здоровы и прощайте.

Ф. Дзержинский

Даты жизни и деятельности Ф. Э. Дзержинского



1663 г. – первое известное упоминание о роде Дзержинских.

1838–1882 гг. – годы жизни отца Феликса – Эдмунда-Руфина Дзержинского.

1850–1896 гг. – годы жизни матери Феликса – Елены Янушевской.

1872–1957 гг. – годы жизни М. Ф. Николаевой.

1877, 30 августа (11 сентября) в родовом имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии в семье Эдмунда-Руфина Иосифовича Дзержинского и его жены-Елены Игнатьевны Дзержинской родился сын Феликс.

1877–1926 гг. – годы жизни Ф. Э. Дзержинского.

1877 г., 11 сентября – запись в книге Деревнинского римско-католического костела о крещении Феликса Дзержинского.

1887 г. – поступление Феликса в 1-класс 1-й Виленской гимназии.

1894 г., осень – вместе с небольшой группой товарищей-единомышленников Феликс дает клятву бороться со злом до последнего дыхания.

1894 г. – во взглядах Феликса произошел коренной перелом под влиянием марксистской литературы. Он стал убежденным атеистом.

1894 г. – в 17 лет, в седьмом классе гимназии Феликс вступил в нелегальный ученический социал-демократический кружок саморазвития.

1895 г., осенью – Феликс вступает в ряды Литовской социал-демократической партии. Примыкает к ее левому крылу. Руководит кружками ремесленников в Вильно.

1895 г., декабрь – Феликс представляет на варшавском подпольном съезде нелегальных ученических кружков самообразования виленский кружок.

1896 г., 2 апреля – Феликс принимает решение целиком переключиться на партийную работу, оставляет учебу в восьмом классе 1-й виленской гимназии, становится профессиональным революционером.

1896 г., 19 апреля – Феликс участвует в работе I съезда Социал-демократической партии Литвы как представитель от социал-демократической молодежи.

1897 г., 18 марта – по решению виленской социал-демократической организации Феликс переезжает для революционной работы в г. Ковно.

1897 г., 1 апреля – Феликс выпускает первый номер написанной и отпечатанной им на гектографе нелегальной газеты на польском языке «Ковенский рабочий».

1897 г., 17 июля – Феликс был первый раз арестован и заключен в Ковенскую тюрьму.

1898 г., 5 марта – министр юстиции писал министру внутренних дел империи: «Принимая во внимание несовершеннолетний возраст Дзержинского... выслать Феликса Дзержинского под гласный надзор полиции в Вятскую губернию на три года».

1898 г., 12 мая – Ф. Э. Дзержинский приговорен к трехлетней ссылке.

1898 г., 10 июня – начальник ковенской тюрьмы сообщил Ф. Э. Дзержинскому, что согласно «высочайшему повелению» Николая II он без суда, в административном порядке ссылается под надзор полиции на три года в Вятскую губернию.

1898 г., 13 июня – Ф. Э. Дзержинский по этапу он был отправлен к месту ссылки.

1898 г., 27 июля – Ф. Э. Дзержинского привезли в Вятку. Губернатор Клингенберг определил ему местом ссылки городок Нолинск.

1898 г., 1 августа – Ф. Э. Дзержинского по этапу отправляют к месту ссылки в Вятскую губернию.

1899 г., 2 января – Ф. Э. Дзержинский написал первое письмо М. Ф. Николаевой из Кайгородского в Нолинск.

1899 г. – решение уездной призывной комиссии г. Слободского о непригодности Ф. Э. Дзержинского к военной службе.

1899 г., 27 августа – Ф. Э. Дзержинский совершает побег из ссылки и приезжает в Варшаву.

1899 г., декабрь – совместно с Яном и Антоном Россолами создает в Варшаве «Рабочий союз социал-демократии».

1899 г., конец декабря – Ф. Э. Дзержинский на конференции в Вильно был избран в Совет партии.

1900 г., январь – Ф. Э. Дзержинский участвует в работе съезда социал-демократического «Рабочего союза Литвы» в Минске, на котором был избран Центральный Комитет объединенной партии (СДПиЛ). Дзержинский входит в состав ЦК.

1900 г., 23 января – в Варшаве Ф. Э. Дзержинский арестован второй раз и заключен в X павильон Варшавской цитадели.

1900 г., апрель – Ф. Э. Дзержинского переводят в Седлецкую тюрьму.

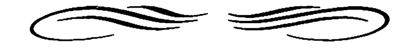
1901 г., 20 октября – Ф. Э. Дзержинского приговаривают к ссылке на 5 лет Вилюйск Якутской губернии.

1901 г., 10 ноября – последнее письмо Ф. Э. Дзержинского М. Ф. Николаевой.

Именной указатель



Содержание



Дзержинский Феликс Эдмундович

«Я вас люблю...»
Письма Феликса Дзержинского
Маргарите Николаевой

Редактор *С. И. Панов*
Художественное оформление *А. П. Зарубин*
Компьютерная верстка *И. В. Белюсенко*
Корректор *М. В. Лушина*

Издательство «Кучково поле»
105064, г. Москва, Малый Демидовский пер., 3
Тел./факс: (495) 974 61 69, тел.: (499) 763 34 38.
E-mail: kuchkovopole@mail.ru

Подписано в печать 19.07.07. Формат 70x90/32.
Усл. печ. л. 8,19. Печать офсетная.
Гарнитура «NewBaskervilleC». Тираж 1500 экз.
Заказ № С-891.

Отпечатано в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс»
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

ISBN 5-901679-76-8

9785901679760